

АНТИНОМИИ



yearbook.uran.ru/
ifp.uran.ru/ezh/about/

2024

Том 24
Выпуск 3

«Культура отмены»: дискурсивные модели, механизмы, практики

Василий Сыров

«Культура отмены»:
к вопросу о критериях определения
и правомерности применения

Ольга Котунова

Моральная риторика
«культуры отмены»:
парадоксы концепта
исторической ответственности

Оксана Головашина

«Культура отмены»:
исключенность
и историческая идентичность

Даниил Аникин

Дискурс исторической
справедливости:
этико-политические основания
и концептуальные противоречия

Леонид Фишман

«Культура отмены» в России:
от неприятия
к ограниченному применению?

**Андрей Линченко
Елена Трутенко**

Коммеморации сообществ отмены
в условиях цифровизации

Илья Туркин

«Культура отмены»
как инструмент борьбы режимов
мнемонической безопасности





Российская Академия Наук

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ И ПРАВА
Уральского отделения
Российской академии наук

АНТИНОМИИ

Том 24

Выпуск 3

Екатеринбург – 2024

Главный редактор

Виктор Николаевич РУДЕНКО, главный научный сотрудник Института философии и права УрО РАН (Екатеринбург, Россия), академик РАН, д-р юрид. наук, проф.

Редакционная коллегия

Философия:

Хоакин Х. АЛАРКОН, проф. Университета г. Мурсии (Мурсия, Испания), д-р философии; **Владимир ДИЕВ**, директор Института философии и права Новосибирского государственного университета (Новосибирск, Россия), д-р филос. наук, проф.; **Юрий ЕРШОВ**, д-р филос. наук, проф. (Екатеринбург, Россия); **Владислав ЛЕКТОРСКИЙ**, главный научный сотрудник Института философии РАН (Москва, Россия, председатель), академик РАН, д-р филос. наук, проф.; **Михаил МАЛЫШЕВ**, проф. Автономного университета штата Мехико (Толука, Мексика); **Шон САЙЕРС**, почетный проф. философии Кентского университета (Кент, Великобритания); **Елена СТЕПАНОВА**, главный научный сотрудник Института философии и права УрО РАН (Екатеринбург, Россия), д-р филос. наук; **Елена ТРУБИНА**, проф. Уральского федерального университета (Екатеринбург, Россия), д-р филос. наук; **Цинянь АНЬ**, проф. философии Народного университета Китая (Пекин, КНР).

Политическая наука:

Ольга МАЛИНОВА, главный научный сотрудник ИНИОН РАН (Москва, Россия), д-р филос. наук, проф.; **Виктор МАРТЬЯНОВ**, директор Института философии и права УрО РАН (Екатеринбург, Россия), д-р полит. наук, доц.; **Петр ПАНОВ**, главный научный сотрудник Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН (Пермь, Россия), д-р полит. наук, проф.; **Ольга ПОПОВА**, зав. кафедрой политических институтов и прикладных политических исследований Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия), д-р полит. наук, проф.; **Сергей ПОЦЕЛУЕВ**, проф. кафедры теоретической и прикладной политологии Южного федерального университета (Ростов-на-Дону, Россия), д-р полит. наук; **Томас РЕМИНГТОН**, проф. политологии Университета Эмори (Атланта, США), д-р политологии; **Камерон РОСС**, проф. политических наук Университета Данди (Данди, Великобритания), д-р философии; **Ольга РУСАКОВА**, зав. отделом философии Института философии и права УрО РАН (Екатеринбург, Россия), д-р полит. наук, проф.; **Ричард САКВА**, проф. Кентского университета (Кент, Великобритания), д-р философии; **Саския САССЕН**, проф. социологии Колумбийского университета (Нью-Йорк, США), д-р философии; **Кароль СИГМАН**, сотрудник Института политических и социальных исследований Национального центра научных исследований, д-р политологии (Париж, Франция).

Право:

Алексей АВТОНОМОВ, директор Центра сравнительного права НИУ – Высшая школа экономики (Москва, Россия), д-р юрид. наук, проф.; **Олег ЗАЗНАЕВ**, зав. кафедрой политологии Казанского (Приволжского) федерального университета (Казань, Россия), д-р юрид. наук, проф.; **Михаил КАЗАНЦЕВ**, зав. отделом права Института философии и права УрО РАН (Екатеринбург, Россия), д-р юрид. наук; **Сергей КОДАН**, проф. Уральского государственного юридического университета (Екатеринбург, Россия), д-р юрид. наук; **Александр КОКОТОВ**, судья Конституционного суда Российской Федерации (Санкт-Петербург, Россия), д-р юрид. наук, проф.; **Павел КРАШЕНИННИКОВ**, председатель комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации (Москва, Россия), д. юрид. наук, проф.; **Валентина РУДЕНКО**, старший научный сотрудник Института философии и права УрО РАН (Екатеринбург, Россия), к. юрид. наук, доц.; **Армандо СЕРОЛО ДУРАН**, проф. Университета г. Сан-Пабло (Сан-Пабло, Испания), д-р права, д-р полит. наук; **Наталья ФИЛИПОВА**, зав. кафедрой государственного и муниципального права Сургутского государственного университета (Сургут, Россия), д-р юрид. наук.

Журнал с 2011 г. включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук (спец.: 5.1.1; 5.1.2; 5.5.1; 5.5.2; 5.7.1; 5.7.2; 5.7.7). Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ); КиберЛенинку; базу данных Russian Science Citation Index на платформе Web of Science (RSCI); международные базы данных EBSCO; Ulrich's Periodicals Directory; Directory of Open Access Journals (DOAJ); International Impact Factor Services (IIFS); ERIH PLUS.

Учредитель и издатель

Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук

Журнал издается с 1999 г. В 1999–2018 гг. выходил под названием «Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук». С 2019 г. журнал издается под названием «Антиномии». Подписной индекс 43669 через подписное агентство «Урал-Пресс» (контакты ближайших офисов на сайте <https://www.ural-press.ru>).

Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средств массовой информации ПИ № ФС77-75331 от 05 апреля 2019 г.

ISSN 2686-7206 (Print); ISSN 2686-925X (Online)

Адрес учредителя, издателя и редакции: 620108, Россия, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 16.

Тел./факс: 7 (343) 374-33-55. E-mail: admin@instlaw.uran.ru

Интернет-сайт журнала: <http://yearbook.uran.ru>



Статьи распространяются на основе публичной лицензии Creative Commons



Russian Academy of Sciences

INSTITUTE OF PHILOSOPHY AND LAW
Ural Branch of the Russian Academy of Sciences

ANTINOMIES

Volume 24

Issue 3

Yekaterinburg 2024

Editor-in-Chief

Viktor N. RUDENKO – Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Yekaterinburg, Russia).

Editorial Board

Philosophy

Joaquin H. ALARCON – University of Murcia (Murcia, Spain); **Vladimir DIYEV** – Institute of Philosophy and Law, Novosibirsk State University (Novosibirsk, Russia); **Yuri ERSHOV** (Yekaterinburg, Russia); **Vladislav LEKTORSKY** – Institute of Philosophy, the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia); **Mikhail MALYSHEV** – Autonomous University of Mexico (Toluca, Mexico); **Sean SAYERS** – University of Kent (Kent, Great Britain); **Elena STEPANOVA** – Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Yekaterinburg, Russia); **Elena TRUBINA** – Ural Federal University (Yekaterinburg, Russia); **Qinian AN** – Renmin University of China (Beijing, China).

Political Science

Olga MALINOVA – Institute of Scientific Information for Social Sciences of the Russian Academy of Sciences (INION RAN) (Moscow, Russia); **Viktor MARTYANOV** – Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Yekaterinburg, Russia); **Petr PANOVA** – Perm Scientific Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Perm, Russia); **Olga POPOVA** – Saint Petersburg State University (St. Petersburg, Russia); **Sergey POCELUEV** – Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia); **Thomas REMINGTON** – Emory University (Atlanta, USA); **Cameron ROSS** – University of Dundee (Dundee, UK); **Olga RUSAKOVA** – Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Yekaterinburg, Russia); **Richard SAKWA** – University of Kent (Kent, UK); **Saskia SASSEN** – Columbia University (New York, USA); **Carole SIGMAN** – Institute for Humanities and Social Sciences, National Center for Scientific Research (Paris, France).

Law

Alexei AVTONOMOV – Center for Comparative Law, Higher School of Economics (Moscow, Russia); **Oleg ZAZNAEV** – Kazan Federal University (Kazan, Russia); **Mikhail KAZANTSEV** – Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Yekaterinburg, Russia); **Sergey KODAN** – Ural State Law University (Yekaterinburg, Russia); **Alexander KOKOTOV** – Constitutional Court of the Russian Federation (St. Petersburg, Russia); **Pavel KRASHENINNIKOV** – State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation (Moscow, Russia); **Valentina RUDENKO** – Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Yekaterinburg, Russia); **Armando ZEROLO DURAN** – University of San Pablo (San Pablo, Spain); **Natalia FILIPPOVA** – Surgut State University (Surgut, Russia).

Since 2011, the journal has been included into the List of peer-reviewed scientific publications, in which the main scientific results of dissertations for the degree of Candidate and Doctor of science should be published (specialties: 5.1.1; 5.1.2; 5.5.1; 5.5.2; 5.7.1; 5.7.2; 5.7.7). It is indexed and referenced in the Russian Science Citation Index (RSCI); CyberLeninka; RSCI database on the Web of Science platform; EBSCO; Ulrich's Periodicals Directory; Directory of Open Access Journals (DOAJ); International Impact Factor Services (IIFS); ERIH PLUS.

Founder and Publisher

Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences

The journal has been published since 1999. In 1999–2018 it was published under the title "Research Yearbook, Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences". Since 2019, the journal has been published under the title "Antinomies". Subscription index 43669 via Subscription agency "Ural-Press" (contacts of the nearest offices are to be found on the website <https://www.ural-press.ru>).

Registered as the periodical journal by the Federal Service for Supervision in the Sphere of Telecom, Information Technologies and Mass Communications.

The Certificate of Registration ПИ № ФС77-75331, April 5, 2019.

ISSN 2686-7206 (Print); ISSN 2686-925X (Online)

Contacts: S. Kovalevskaya st., 16, Yekaterinburg, Russia, 620108.

Tel/fax: 7 (343) 374-33-55. E-mail: admin@instlaw.uran.ru

Web-site: <http://yearbook.uran.ru>



The articles are distributed under a Creative Commons public license

СО Д Е Р Ж А Н И Е

«КУЛЬТУРА ОТМЕНЫ»: ДИСКУРСИВНЫЕ МОДЕЛИ, МЕХАНИЗМЫ, ПРАКТИКИ

<i>Сыров В.Н.</i> «Культура отмены»: к вопросу о критериях определения и правомерности применения	7
<i>Котунова О.В.</i> Моральная риторика «культуры отмены»: парадоксы концепта исторической ответственности	23
<i>Головашина О.В.</i> «Культура отмены»: исключенность и историческая идентичность	38
<i>Аникин Д.А.</i> Дискурс исторической справедливости: этико-политические основания и концептуальные противоречия	55
<i>Фишман Л.Г.</i> «Культура отмены» в России: от неприятия к ограниченному применению?	70
<i>Линченко А.А., Трутенко Е.В.</i> Коммеморации сообществ отмены в условиях цифровизации	83
<i>Туркин И.А.</i> «Культура отмены» как инструмент борьбы режимов мнемонической безопасности	101

П Р А В О

<i>Шавеко Н.А.</i> Правовое государство и верховенство права: эволюция двух доктрин в контексте выработки новой историографической модели политико-правовых знаний.....	115
<i>Балакаев В.Д.</i> Национальная идентичность против международного права: анализ практики органов конституционного контроля.....	131

CONTENTS

CANCEL CULTURE: DISCURSIVE MODELS, MECHANISMS, AND PRACTICES

V. Syrov. Cancel Culture: On the Criteria for Definition and the Legitimacy of Its Application	7
O. Kotunova. Moral Rhetoric of Cancel Culture: Paradoxes in the Concept of Historical Responsibility	23
O. Golovashina. Cancel Culture: Exclusion and Historical Identity	38
D. Anikin. Discourse of Historical Justice: Ethical-Political Foundations and Conceptual Contradictions.....	55
L. Fishman. Cancel Culture in Russia: From Rejection to Limited Application?	70
A. Linchenko, E. Trutenko. Commemorations of Cancel Communities in the Context of Digitalization.....	83
I. Turkin. Cancel Culture as a Tool in the Struggle of Mnemonic Security Regimes	101

LAW

N. Shaveko. Rechtsstaat and Rule of Law: Evolution of Two Doctrines in Context of Developing a New Historiographical Model of Political and Legal Knowledge	115
V. Balakaev. National Identity vs International Law in the Practice of Constitutional Control Bodies	131

«КУЛЬТУРА ОТМЕНЫ» CANCEL CULTURE



Сыров В.Н. «Культура отмены»: к вопросу о критериях определения и правомерности применения // Антиномии. 2024. Т. 24, вып. 3. С. 7-22. https://doi.org/10.17506/26867206_2024_24_3_7

УДК 304.2:93

DOI 10.17506/26867206_2024_24_3_7

«Культура отмены»: к вопросу о критериях определения и правомерности применения

Василий Николаевич Сыров

Томский государственный университет

г. Томск, Россия

E-mail: narrat@inbox.ru

*Поступила в редакцию 24.06.2024, поступила после рецензирования 05.08.2024,
принята к публикации 05.09.2024*

«Культура отмены» как современная форма остракизма характеризует определенные формы общественной активности, в первую очередь в социальных сетях. Однако она все чаще используется не только в отношении публичных фигур, групп людей, брендов, но и для переоценки значимости широкого круга социально-культурных вопросов, в том числе исторического прошлого. В этой связи особый интерес представляют способы и контексты обращения к идее канселлинга представителей научного сообщества, что предполагает, в отличие от общественных активистов, определенную степень дистанцирования от различных практик «культуры отмены». Целью настоящей статьи является анализ обращения к идее отмены в исследовательской литературе. По мнению автора, это предполагает последовательное обсуждение следующих вопросов: 1) статус понятия «отмена» и соотношение



© Сыров В.Н., 2024

метафоры и канселлинга; 2) анализ возможностей распространения дискурса «культуры отмены» на новые предметные области; 3) канселлинг в исторической науке; 4) роль государства в распространении практик «культуры отмены». Доказывается, что происхождение идеи отмены можно связать с метафорическим характером любого положения, претендующего на оригинальность и новизну. Придание ей статуса термина требует совокупности определенных интерпретаций, иначе она останется риторической фигурой или идеологической установкой. Выдвигается тезис о том, что введение в исследовательский дискурс и соответствующее употребление как самого термина, так и языка «культуры отмены» предполагают наличие сложившегося в общественном и профессиональном дискурсе канона, или совокупности значимых объектов, которые могут стать предметом канселлинга. Подчеркивается, что речь должна идти об определении правомерности самих исследовательских интерпретаций, то есть о сохранении их исследовательского потенциала (можно ли считать те или иные дискурсы и практики формами проявления именно «культуры отмены»), а не имплицитном выражении идеологических установок.

Ключевые слова: «культура отмены», исследовательская литература, метафора, дискурс отмены, практики отмены, историческое прошлое, историческое знание

Благодарности: Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-18-00465, <https://rscf.ru/project/23-18-00465/>

Cancel Culture: On the Criteria for Definition and the Legitimacy of Its Application

Vasily N. Syrov

Tomsk State University

Tomsk, Russia

E-mail: narrat@inbox.ru

Received 24.06.2024, revised 05.08.2024, accepted 05.09.2024

Abstract. Cancel culture as a modern form of ostracism characterizes certain forms of public activism, primarily on social networks. However, it is increasingly applied not only to public figures, groups and brands but also to re-evaluation of a wide range of socio-cultural issues, including the historical past. In this regard, the ways and contexts of addressing the idea of cancelling by representatives of the scientific community are of particular interest. Unlike public activism, this involves a certain degree of distancing from various cancel culture practices. The aim of the article is to analyze the idea of cancelling in the research literature. According to the author, this requires a consistent discussion of the following issues: 1) the status of the term “cancel” and the relationship between metaphor and cancelling; 2) an analysis of the possibilities of spreading the discourse of cancel culture to new subject areas; 3) cancelling in historical science; 4) the role of the state in spreading the practices of cancel culture. It is argued that the origin of the idea of cancelling can be associated with the metaphorical nature of any position that claims to be original and novel. Giving it the status of a term requires a set of certain interpretations, otherwise it will remain a rhetorical figure or ideological attitudes. The article puts forward the thesis that the introduction of both the term cancel culture and its language into research discourse presuppose the existence of a canon or a set of significant objects,

established in public and professional discourse, which can become subjects of cancellation. It is emphasized that the discussion should focus on legitimacy of research interpretations themselves, specifically on preserving their research potential (i.e., whether certain discourses and practices can be considered manifestations of cancel culture), rather than implicitly expressing ideological stances.

Keywords: cancel culture, research literature, metaphor, cancel discourse, cancellation practices, historical past, historical knowledge

Acknowledgements: The research was carried out with the support of the Russian Science Foundation grant No. 23-18-00465, <https://rscf.ru/en/project/23-18-00465/>

For citation: Syrov V.N. Cancel Culture: On the Criteria for Definition and the Legitimacy of Its Application, *Antinomies*, 2024, vol. 24, iss. 3, pp. 7-22. (In Russ.). https://doi.org/10.17506/26867206_2024_24_3_7

Введение

«Культура отмены» (cancel culture) как характеристика определенных форм современной общественной активности (в первую очередь в социальных сетях) получила широкое распространение как в общественном сознании, так и в соответствующей исследовательской литературе. Если изначально канселлинг проявлялся в отмене человека, группы людей, брендов, нарушавших признанные сообществом нормы этики, то в последнее время подобные практики все чаще встречаются в новых предметных областях. Д. Эпплмен осмысливает последствия переоценки так называемого литературного канона в школьных программах (Appleman 2022); отечественные авторы пишут о попытках «отмены России» и всего, что с ней связано, включая бизнес, культуру, спорт, образование и науку (Дериглазова, Погорельская 2023: 9), о стремлении вычеркнуть «русский след» из мирового культурного наследия путем «смены гражданства» творцов, чьи шедевры всегда воспринимались как продукт высокой культуры России (Рустамова, Иванова 2023: 438-439). Подобного рода высказывания позволяют поставить вопрос о критериях применения термина «культура отмены» и связанного с ним языка описания к характеристике широкого спектра современных культурных процессов и явлений. Интерес вызывают способы и контексты обращения к идее канселлинга представителей научного сообщества, что предполагает, в отличие от общественных активистов, определенную степень дистанцирования от различных практик «культуры отмены», а также ее переосмысление как научной метафоры.

Полагаем, что обсуждение данного вопроса связано с последовательным рассмотрением нескольких аспектов. Начать стоит с осмысления статуса самой идеи отмены, а значит, тех перспектив и возможных обязательств, которые этот статус налагает. Толчком к разворачиванию предложенной последовательности рассуждений будет тезис о том, что происхождение понятия отмены можно связать с метафорическим характером любого положения, претендующего на оригинальность и новизну. Далее следует обсудить перспективы и потенциал его применения в исследовательской литературе к тем или иным объектам и возможности распространения на новые

предметные области. Речь будет идти, прежде всего, об отношении к историческому прошлому. В завершение мы рассмотрим влияние различных акторов на распространение канселлинга, в том числе возможности включения государства в подобные практики.

«Культура отмены» как метафора

Современные трактовки места и роли метафоры избегают сведения ее только к эстетическому эффекту. Как подчеркивает Х. Уайт, «метафора не дает образа вещи, которую она стремится охарактеризовать, она дает направление для поиска списка образов, связанных с такой вещью. Она более функционирует как символ, чем как знак, который... предлагает нам не описание или отражение представляемой вещи, но указывает, какие образы искать в нашем культурном коде для того, чтобы определить, как нам следовало бы переживать по поводу представленной вещи» (White 1978: 53). Делая акцент на интерпретативном аспекте использования метафоры, М. Элвессон отмечает: «Для того, чтобы метафора была действенной, ее творец/аналитик или ее потребитель/читатель должны выделить правильные элементы, в которых признаки перенесены из одной области в другую и на которые направлено основное внимание в объекте» (Элвессон 2005: 51).

С этих позиций метафору можно рассматривать как необходимый элемент в процессе производства нового значения (или новой идеи), в котором следует предположить наличие операции, не имеющей прямого отношения к этому производству. Она представляет собой необычное сочетание привычных компонентов, которое не сводится к простому нарушению правил, а призвано создать эффект потрясения, возбуждения и последующего желания снова и снова повторять созданные сочетания, чтобы продлить удовольствие. Возбуждение от столь необычного сочетания и ощущение его не до конца отрефлексированной силы надлежит рассматривать не только как субъективный психологический момент творчества, но и как единственно возможный индикатор, по которому определяется сам факт специфичности производства метафоры и ее удачность. Психологическую потребность постоянно повторять поражающее сочетание надлежит считать лишь следствием реализации данной процедуры. Другими словами, мы считаем тождественными утверждения о создании новизны и создании метафоры.

Любая новая идея всегда возникает в виде метафоры, а уже потом, если вызывает интерес исследовательского сообщества, становится объектом интерпретации. Последнюю можно считать уже собственно исследовательской процедурой, предполагающей действия по превращению метафоры в термин. В самой метафоре нет оснований для отрицания возможности последующего применения предложенных интерпретаций к новым исследовательским областям. Метафора «любовь как роза» предполагает возможность акцента как на красоте цветка, так и на его шипах. Этот феномен достаточно хорошо исследован, однако среди теоретиков недостаточно внимания уделяется обратной ситуации. Идея может остаться всего лишь метафорой, а ее распространение на новые исследовательские области будет приобретать

характер имплицитного наклеивания идеологического ярлыка с целью сокрытия подлинных намерений или свидетельствовать об отсутствии элементарной рефлексивности по отношению к используемому языку.

О.В. Головашина справедливо подчеркивает, что «метафора, метонимия, синекдоха, ирония существуют не только в литературных (и исторических, как показал Уайт) текстах, но и в буклетах туристических агентств, обещающих погружение в прошлое, в высказываниях политиков, дискуссиях на тематических форумах. Их употребление не выходит за рамки риторических фигур, а выступает как определенная модель действий для участников, читателей, свидетелей» (Головашина 2021: 76). Рискнем продолжить мысль автора: модель действий с целью произведения скорее прагматического, нежели исследовательского эффекта. «...Применительно к исторической политике, как и к историческим текстам, риторика зачастую занимает роль теории. В процессе реализации различных коммеморативных мероприятий, акций участников (как историки – своих читателей) убеждают, какое именно восприятие тех или иных событий правильное и объективное» (Головашина 2021: 76).

Мы полагаем, что приведенные выше соображения по поводу перспектив использования метафоры могут быть применены к популярному в настоящее время словосочетанию «культура отмены». Наш ключевой тезис заключается в утверждении ряда аргументов, подтверждающих, что, с одной стороны, сила произведенного идеей отмены метафорического эффекта может обеспечить ее эвристичность и способствовать тем самым введению в исследовательский оборот новых дискурсивных инструментов. С другой стороны, в силу идеологических и социально-культурных обстоятельств, это словосочетание может ожидать судьба не только остаться на уровне метафоры, но и активно использоваться (пусть зачастую и бессознательно) для производства идеологического, а не исследовательского эффекта.

В словарях термин «отмена» дается в достаточно широком диапазоне значений, связанном с действиями в отношении различных объектов или социально-культурных процессов. Поэтому его применение к людям, предполагающее отождествление самого отношения с набором весьма определенных действий (те или иные формы бойкота), можно считать выражением метафорического эффекта (отменить самих людей).

Еще более примечательны игры с сочетанием терминов «отмена» и «культура». «Культура... больше похожа на стиль или комплекс техник и привычек, чем на совокупность предпочтений и потребностей. <...> Она скорее подобна “набору инструментов” или репертуару, из которого акторы выбирают различные детали для конструирования линий своего поведения» (Swidler 1986: 275, 277), то есть «культура отмены» представляет собой набор шаблонов действий. При этом «семантика глагола *cancel* переносится в общественном сознании с носителей культуры на саму культуру» (Фефелов 2022: 132), что делает возможным своеобразное смещение акцентов с «культуры отмены» на «отмену культуры». В некотором смысле использование слова «отмена» начинает характеризовать не только формы бойкота, но и изменение оценки значимости (в первую очередь в общественном

сознании) различных культурных объектов. Призыв «отменить Шекспира», к примеру, подразумевает изменение значения его творческого наследия, что включает определенный набор действий – обвинение его текстов в различных «фобиях» и «измах» с последующих их изъятием (или призывами к нему) из школьных или университетских программ. Характерным примером такого смещения значения является словосочетание «отмена России» (Рустамова, Иванова 2023: 438), подразумевающее не только призывы и практики бойкота по национальному признаку, но и изменение отношения ко всем элементам, которые в отечественной традиции ассоциируются с понятием культуры.

Таким образом, фактически речь идет о постепенном и зачастую мало-заметном превращении метафоры отмены в часть понятийного аппарата, используемого рядом исследователей. Наш тезис заключается в том, что слово «отмена», приобретающее статус термина, начинает использоваться, как уже отмечалось выше, не только для оценки публичных фигур, но и характеристики (в первую очередь переоценки) значимости широкого круга социально-культурных объектов. Этот процесс проявляется и в отношении к историческому прошлому.

Канселлинг и история

Как отмечается в статье А.А. Линченко, «несмотря на то, что основные концепты общественного движения BLM отражают актуальные ценности преодоления насилия и расового неравенства в настоящем (жизнь, справедливость, равенство, ненасилие), с самого момента своего основания BLM использовало прошлое как важнейший символический ресурс... Это позволяет в полной мере видеть в BLM сообщество памяти, коммеморативные практики которого, во-первых, направлены на увековечивание памяти... во-вторых, на символическое перекодирование социального пространства...» (Линченко 2024: 231-232). Поэтому, подчеркивают Е.В. Беляева и А.А. Линченко, «культура отмены как способ переоценки ценностей применяется не только по отношению к знаменитостям, она разворачивается как публичная практика обращения с историей и состоит в пересмотре значения событий прошлого на основании критериев современного общества» (Беляева, Линченко 2023: 301).

В общественных практиках такой пересмотр обычно связывается с применением определенных инструментов – изъятием упоминания о тех или иных объектах из публичного дискурса, их буквальной или символической ликвидацией. Мемориализация «создает коллективную память и коллективные нарративы, наиболее приемлемые современностью, поскольку они отражают то, что общество считает важным, приемлемым и даже воодушевляющим. Общественные ландшафты являются местом для диалога и демократических дискуссий, и они могут способствовать передаче знаний об исторических событиях» (Leyh 2020: 242). Поэтому действия по отмене именно в этом контексте приобретают более символическое значение. Как справедливо отмечает Е. Нг, подобные практики могут приводить к игно-

рированию структурных причин тех или иных обсуждаемых и осуждаемых явлений (Ng 2022: 65), но они же способны стать катализатором для более масштабного и глубинного осмысления процессов, выражением, симптомом или символом которых являются (Ng 2022: 140). Можно утверждать, что аутентичность отмены проявляется в реакции именно общественно-го сознания, публики или отдельных социальных групп, которым удается представить свои ценности как общественно значимые.

Поскольку речь идет об использовании истории в публичной сфере, само применение термина «отмена» в этом контексте можно рассматривать как расширение его первоначальной предметной области употребления и смещение значения. Как уже отмечалось выше, в исследовательской литературе канселлинг начинает связываться с переоценкой значения тех или иных исторических объектов (персонажей, явлений, тем, сюжетов), предполагающей, помимо прочего, разрыв сути переоценки с инструментами ее осуществления. Иначе говоря, отмена прошлого как его переоценка уже не предполагает применения форм общественного порицания в виде бойкота или не сводится к нему.

Полагаем, что такое смещение значения может порождать соблазн применения термина к анализу внутренней деятельности профессионального сообщества. Здесь мы не имеем в виду призывы внутри академической среды к бойкотированию коллег за их высказывания (в этом они ничем не отличаются от активистов в любой другой среде), дискуссии внутри сообщества исследователей по поводу оценки самой «культуры отмены» и даже призывы к отмене тех или иных текстов (по аналогии с ревизией литературного канона). Речь идет об использовании термина в отношении процесса и результатов профессиональной деятельности, то есть не столько о практиках, сколько об оценке возможности такого применения.

Анализ можно предварить тезисом, с которого, видимо, начинаются лекции на историческом факультете: каждое поколение (в данном случае историков) переписывает историю заново. Однако буквальное использование публичных инструментов отмены кажется здесь маловероятным и даже сомнительным. Правила научного дискурса требуют оперирования рациональной аргументацией за и против. Как резюмируют авторы статьи о дискуссиях по поводу памятника К. Линнею в Швеции, «хотя историография постоянно подвергается пересмотру в свете новых фактов и новых перспектив, в публичной сфере, где память формируется доминирующими интересами, споры о прославленном прошлом, скорее всего, встретят сопротивление» (Hübinette, Wikström, Samuelsson 2022: 49). Как своего рода ответ на этот тезис можно привести высказывание П. Берка: «Ни воспоминания, ни истории больше не кажутся объективными. В обоих случаях историки учатся принимать во внимание сознательный или бессознательный отбор, интерпретацию и искажение. В обоих случаях они приходят к выводу, что процесс отбора, интерпретации и искажений обусловлен или, по крайней мере, находится под влиянием социальных групп» (Burke 1997: 44). Данный тезис, как представляется, характеризует не просто субъективное мнение одного автора, а отражает общее изменение исследовательского

(да и общественного) климата в оценке природы, места и роли научного познания в целом.

Здесь мы можем обратиться к выводу П. Бурдые: «Нет такого научного “выбора”, будь то выбор области исследований, используемых методов, печатного органа для публикации, или ...выбор между поспешной публикацией частично проверенных результатов и поздней публикацией полностью контролируемых результатов, который не был бы... политической стратегией инвестиций, направленной... на увеличение чисто научной прибыли, то есть признания, полученного со стороны коллег-конкурентов» (Бурдые 2005: 478-479). Если П. Бурдые еще рассуждает о перспективах автономии поля науки, то в свете весьма распространенных идей, подобных тезисам Дж. Зимана о смене академической науки постакадемической (Ziman 1998), традиционные барьеры между наукой и обществом, наукой и этикой кажутся нуждающимися, как минимум, в корректировке.

Что касается исторического знания, то его нейтральность подвергается вполне обоснованной критике. Из последних событий можно отметить введение во многих странах законов, прямо запрещающих (и регулирующих, помимо прочего, деятельность профессионального сообщества) публичное отрицание, преуменьшение, одобрение или оправдание преступлений нацистов. С другой стороны, можно говорить об общественной рецепции некоторых выводов историков. К. Лоренц пишет о нашумевшей в ФРГ дискуссии 1986–1987 гг., вызванной интерпретациями национал-социализма известными историками Э. Нольте и А. Хиллгрубером, в частности, о реакции Ю. Хабермаса на их идеи (Lorenz 1994). По мнению автора, эта дискуссия, помимо этических или идеологических эффектов, ставит под вопрос традиционное позитивистское разделение на факты и ценности, а также позволяет сделать вывод о том, что нормативное измерение истории не может быть элиминировано и нуждается в рациональном оправдании (Lorenz 1994: 343). Поэтому «фундаментальное различие» между суждениями о фактах и оценочными суждениями больше не может восприниматься как нечто само собой разумеющееся и использоваться в качестве аргумента для сужения сферы исторической дискуссии» (Lorenz 1994: 364). По сути, речь идет о том, что аксиологический аспект, обычно трактовавшийся как внешний по отношению к исторической продукции, может быть обоснованно интерпретирован как структурный элемент самого исторического исследования. Это существенно меняет и характер доводов, приводимых в пользу тех или иных исторических тем, и содержание самих тем в сторону дальнейшего стирания граней между собственно профессиональной деятельностью и публичной реакцией на нее.

Обратим внимание еще на один аспект. Как отмечает Й. Рюзен, «большая часть международного и межкультурного дискурса об историографии находится под влиянием способа исторического мышления, глубоко укоренившегося в историческом сознании человека и работающего во всех культурах и во все времена: этноцентризм» (Rüsen 2004: 364). Помимо многообразия внешних факторов, влияющих на эти процессы, Б. Бевернейдж указывает на частую подмену истины аутентичностью как особен-

ность исторических нарративов (Bevernage 2018: 83). Й. Рюзен выражает эту мысль в более категоричной форме: «Никто не может быть нейтральным, когда твоя собственная идентичность ставится под вопрос» (Rüsen 2004: 128). Приведенное суждение объясняет болезненность реакции историков на те или иные суждения и интерпретации коллег по цеху. В более широком смысле описанная совокупность факторов, как представляется, позволяет понять основания, которые могут быть использованы для применения термина «отмена» и связанного с ней языка описания к характеристике данной сферы профессиональной деятельности.

Если в предшествующих рассуждениях мы попытались рассмотреть результаты и потенциальные возможности употребления термина «отмена» в профессиональной деятельности, то далее выделим некоторые критерии его использования. Напомним еще раз, что речь идет не об оценке самого феномена, а о правомерности употребления термина для характеристики процессов и событий, происходящих в той или иной области социальной жизни, в том числе в исследовательской сфере.

Канселлинг как пересмотр канона

Д.А. Аникин и Р.Ю. Батищев подчеркивают, что «культуру отмены можно рассматривать в качестве одной из форм исторического забвения как инструмента реализации коллективных интересов и представлений посредством формирования или конфигурирования образов прошлого. Но сама по себе такая констатация еще не может являться основанием для исследования, требуя формирования набора признаков, позволяющих в совокупности говорить о том, что определенное изменение отношения к прошлому может рассматриваться именно как культура отмены» (Аникин, Батищев 2024: 175). Далее авторы предлагают набор критериев, согласно которым те или иные высказывания и практики можно связывать с проявлением «культуры отмены»: роль общественной инициативы; наличие моральных оценок; презентизм в их осуществлении (Аникин, Батищев 2024: 175-176).

Полагаем, что эти критерии могут быть использованы для характеристики «культуры отмены» не только по отношению к оценке прошлого. Рискнем утверждать, что наиболее уместное и распространенное использование тезиса об отмене предполагает ситуации или тип ситуаций, когда в общественном сознании сложился и устоялся некоторый набор значимых персонажей, их действий или продуктов в виде текстов, тем, сюжетов и так далее, а потом этот набор в силу ряда причин начинает радикально пересматриваться. Радикальность проявляется, образно говоря, в смене плюсов на минусы. Полагаем, что призывы к бойкоту персонажей или продуктов их деятельности обусловлены спецификой объекта. Наиболее уместным термином, который позволяет охватить все возможные объекты и формы отмены, будет, на наш взгляд, канон по аналогии с литературным каноном. Понятно, что термин используется задним числом для охвата актуальных или потенциальных объектов, что такой список или набор открыт, а его содержание зависит от того, какие темы или проблемы приобретут общественную значимость.

Пока мы не касаемся мотивов и целей отмены. И даже не затрагиваем вопрос о субъекте действий (кто ее осуществляет, кто стоит за публичным шумом), а концентрируемся на самом факте пересмотра сложившегося канона безотносительно его контекста. Но уже на этом этапе рассуждений можно утверждать следующее. Согласно Н. Финкельштейну, «культура отмены» стара, как и сама культура, каждое общество устанавливает границы допустимого (Finkelstein 2023). Но сам по себе факт установления границ допустимого еще не означает правомерности применения для характеристики этой процедуры языка канселлинга. Более того, даже использование таких инструментов, как умолчание и забвение, которые представлены в работе А. Ассман «Забвение истории – одержимость историей» (Ассман 2019: 19-59), еще не говорит об их тождественности инструментам именно отмены, о чем напоминают Д.А. Аникин и Р.Ю. Батищев.

То же утверждение касается вопроса о применении термина «отмена» к оценке исторического прошлого. Создание любой национальной истории, как и истории вообще, предполагает процедуру отделения существенного от несущественного, которая всегда отличается определенной степенью пристрастности. Поскольку каждая национальная культура периодически сталкивается с разными народами, она также включает интерпретацию этих контактов. В итоге мы вполне можем утверждать, что в силу, например, споров о приоритете одни и те же научные открытия в разных странах могут обозначаться именами разных персонажей, одни и те же события – получать разную интерпретацию и оценку, более того, в истории одной страны актуализироваться, а в истории другой – замалчиваться или считаться несущественными. Но представляется, что эти обстоятельства сами по себе еще не являются достаточным основанием для их характеристики в терминах «культуры отмены» и для обвинения в тех или иных «фобиях» и «измах».

Мы, конечно, вправе использовать язык описания и оценки типа «субъективность», «односторонность», «пристрастность», «историческая несправедливость» и так далее, как и констатировать наличие дискуссий о значимости тех или иных объектов, но к отмене или «культуре отмены» они не будут иметь прямого отношения. Чтобы что-то отменить, необходимо, чтобы уже имел место сформировавшийся и обладающий легитимностью (в публичном дискурсе или дискурсе академического сообщества) объект или набор объектов, отношение к которым можно было бы пересмотреть. В ситуации отсутствия такого канона мы можем говорить либо об идеологической ангажированности использованной терминологии (когда, к примеру, утверждается, что в какой-то историографической традиции отменяют исторического персонажа), либо о ее нерелевантном употреблении. Соответственно, речь пойдет либо о предпосылках формирования «культуры отмены», что констатирует нарастание критического отношения к тем или иным предметам канона, либо о приводимых основаниях для ее применения.

Резонно предположить, что индикатором правомерности употребления понятия «отмена» и соответствующего ему языка описания следует считать фиксацию в соответствующем дискурсе аспекта динамики. Другими словами, если мы можем зафиксировать тенденцию к пересмотру пан-

теона и последующему росту публичной значимости данного пересмотра, тогда резонно маркировать этот процесс как канселлинг. И неважно, идет речь о персонажах и событиях собственной культуры, истории других обществ или объектах культуры в целом.

Может ли государство быть актором «культуры отмены»?

Характеризуя условия и формы проявления «культуры отмены», М.Ю. Немцев отмечает, что отличительной чертой современности становится появление «мира децентрализованных глобальных медиа, где очень быстро возникают информационные волны и контролировать их распространение невозможно. Зато они создают удобную основу для спонтанной со-организации массы активистов»¹. Этот тезис заставляет поднять еще один вопрос: насколько правомерно связывать или отождествлять «культуру отмены» с государственной политикой? Вправе ли мы использовать терминологию и язык канселлинга для характеристики тех или иных действий, прямо или косвенно инициированных государством? Например, вышеупомянутая Е. Нг анализирует, как «культура отмены» переплетается в КНР с политическими дискурсами и формами государственного участия (Ng 2022).

В сложившемся понимании канселлинга принято считать, что он является продуктом общественной инициативы. Как отмечают Д.А. Аникин и Р.Ю. Батищев, «принципиально важно, что в роли инициаторов культуры отмены выступают не какие-либо официальные институты, а исключительно общественные организации или отдельные лидеры общественного мнения» (Аникин, Батищев 2024: 175). Однако то, что первоначально возникло как продукт спонтанных общественных инициатив, может в дальнейшем узурпироваться крупными корпорациями в интересах бизнеса или властью в политических или идеологических целях. Государство может прямо или косвенно (в том числе через подконтрольные средства массовой информации и общественные организации) выступить инициатором актуализации дискурса и даже практик отмены. Возможно допустить ситуацию, когда государственная инициатива может оказаться единственным голосом так называемого здравого смысла среди общественного хаоса и безумия. Но использование языка «культуры отмены» для характеристики государственной политики означает существенную деформацию как самой идеи отмены, так и механизмов ее реализации.

Можно утверждать, что в такого рода ситуациях форма остается той же при радикальном изменении содержания. По сходному поводу Л.Г. Фишман замечает, что «российская официальная политика памяти не вытекает из действительного признания случившейся в 1991 г. катастрофы и вытекающего из нее разрыва с прошлым. Можно сказать, она основана на принципиальном игнорировании этой катастрофы именно как поражения,

¹ Насколько уместна критика «новой этики» в современной России? Интервью Т. Левиной с М. Немцевым // Историческая экспертиза. URL: <https://www.istorex.org/post/насколько-уместна-критика-новой-этики-в-современной-россии-интервью-татьяны-левиной-с-михаилом> (дата обращения: 23.06.2024).

результатом осмысления которого мог бы стать существенно иной образ российской идентичности. И теперь, когда мы в очередной раз переживаем катастрофу, причем глобального масштаба, ее потенциал не используется для формирования российской национальной идентичности, соответствующей современным реалиям» (Фишман 2024: 47-48). Иначе говоря, политика памяти может выражать современные тренды, решать актуальные задачи, использовать популярный язык, но не иметь связи с временным контекстом.

Если настаивать на правомерности применения к действиям государственной власти языка канселлинга, следует учитывать контекст – характер политического режима и наличие/отсутствие общественной поддержки тех или иных правительственных инициатив. Представляется также, что выдвинутые тезисы позволяют более внимательно отнестись к вышеупомянутым суждениям о том, что каждое общество устанавливает границы допустимого, а «культура отмены» стара как мир. Конечно, история знает немало примеров, когда новый правитель стирал или пытался стереть из памяти подданных упоминания о своих предшественниках. Но мы полагаем, что проведение подобных аналогий по эвристичности сродни популярным в общественном сознании банальностям типа «во все времена есть богатые и бедные», «в мире всегда были войны» и т.д. Поэтому упрек в презентизме, справедливо предъявляемый активистам отмены, правомерен и в отношении исследователей, поскольку затемняет эвристичность используемых ими дискурсивных инструментов – степень новизны в определении объектов отмены², форм ее реализации, ключевых акторов, мотивации участников и т.д.

О мотивации акторов канселлинга

Рассмотрим еще один аспект, который в свете распространенных в публицистике и исследовательской литературе оценок «культуры отмены» зачастую кажется очевидным. Это отождествление канселлинга с ложью и фальсификацией, а мотивации ее авторов – со стремлением к власти и доминированию в духе конспирологических теорий. Конечно, достаточно часто дискурс и практики отмены явно или неявно основываются на недостоверной или сомнительной интерпретации того или иного эмпирического материала, а общественные инициативы оказываются удобным инструментом для реализации воли к власти отдельных групп или частных интересов³.

Игнорирование данного обстоятельства вполне заслуживает упреков в наивности, односторонности, поверхностности, упрощенности, идеологической ангажированности трактовок сути и функций «культуры отмены», мотивов и инициатив ее участников. Однако, опираясь на психоанализ, обратим внимание на то, что за внешней стороной используемых общественностью дискурсов и практик могут скрываться совершенно иные причины

² Хотя, конечно, вопрос о новизне решается в ходе исследовательского анализа и соответствующей аргументации.

³ Хорошим примером добротного и, как нам кажется, исчерпывающего анализа в этом направлении можно считать работу «Этизация истории и фигуры умолчания в современной культуре отмены» (Беляева, Линченко 2023).

(мотивы) неудовлетворенности современной социальной реальностью, которые не всегда осознаются ее участниками или в которых они не могут (не хотят) себе признаться. Даже если говорить о протесте как воплощении сущности массовых публичных практик, то может оказаться, что он выполняет функцию сублимации в силу общей тревожности современного индивида (Bracken 2002: 207).

В любом случае налицо весьма противоречивые, если не противоположные, оценки этого социально-культурного феномена (Owens 2023). Сторонники применения процедур канселлинга полагают, что данные действия направлены на публичное порицание кого-либо за предполагаемое или реальное социальное нарушение, которое не было должным образом устранено с помощью традиционных каналов. Другими словами, грань между искренней заботой о социальной справедливости и придирчивостью к чьему-либо поведению оказывается весьма тонкой⁴. В этой связи рассмотрение в исследовательской литературе различных подходов поможет разнообразить палитру интерпретации мотивации участников, избежать упреков в ее упрощении или искажении. Кроме того, это позволит продвинуться в понимании мотивов самих авторов, даст возможность судить об идеологических предпочтениях не только объектов, но и субъектов анализа.

Здесь следует отметить еще один момент. В исследовательской литературе правомерно отмечается преобладание этического аспекта в действиях акторов канселлинга (Беляева, Линченко 2023: 307). Этот аспект, во-первых, существенно смещает смысл и значимость негативных оценок «культуры отмены», поскольку речь идет не только об оценке дискурсов и практик ее участников (посягательство на свободу слова, к примеру). Во-вторых, сама методология экспликации скрытых интенций за внешними формами их проявления способна порождать обратный эффект: предлагаемые интерпретации могут либо не иметь никакого отношения к описываемому феномену, либо оказаться идеологическими, а не эпистемологическими инструментами. Иначе говоря, упрек в идеологичности может быть обращен не только к тому, что описывается, но и к тем, кто описывает.

Подводя итог, еще раз подчеркнем, что ключевым критерием в определении правомерности применения языка канселлинга следует считать наличие сложившегося и обладающего значимостью канона в трактовке тех или иных объектов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Аникин Д.А., Батищев Р.Ю. 2024. «Мы вас туда не посылали»: медиарепрезентации войны в Афганистане и практики культуры отмены в постсоветской России // *Galactica Media: Journal of Media Studies*. Т. 6, № 1. С. 172-187. DOI 10.46539/gmd.v6i1.445

Ассман А. 2019. Забвение истории – одержимость историей. Москва : Новое литературное обозрение. 552 с.

⁴ Trigo L. A. Cancel Culture: The Phenomenon, Online Communities and Open Letters // *PopMeC Research Blog*. 29.09.2020. URL: <https://popmec.hypotheses.org/3043> (дата обращения: 23.06.2024).

Беляева Е.В., Линченко А.А. 2023. Этизация истории и фигуры умолчания в современной культуре отмены // Молчание и умолчание в истории / под ред. О.В. Воробьевой. Москва : Институт всеобщей истории РАН. С. 300-322.

Бурдые П. 2005. Поле науки // Бурдые П. Социальное пространство: поля и практики. Москва : Институт экспериментальной социологии ; Санкт-Петербург : Алетейя. С. 473-517.

Головашина О.В. 2021. «Метаистория» Х. Уайта и социальные условия исторической ответственности // *Tempus et Memoria*. Т. 2, № 2. С. 73-79. DOI 10.15826/tetm.2021.2.015

Дериглазова Л.В., Погорельская А.М. 2023. Культура отмены в политике и международных отношениях // Вестник МГИМО-Университета. Т. 16, № 4. С. 7-33. DOI 10.24833/2071-8160-2023-4-91-7-33

Линченко А.А. 2024. Формы исторического забвения и фигуры умолчания в коммеморативных практиках движения Black Lives Matter: сравнительный анализ медиадискурсов в англоязычных странах // *Galactica Media: Journal of Media Studies*. Т. 6, № 1. С. 225-243. DOI 10.46539/gmd.v6i1.447

Рустамова Л.Р., Иванова Д.Г. 2023. «Культура отмены» в отношении России и способы борьбы с ней // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. Т. 25, № 2. С. 434-444. DOI 10.22363/2313-1438-2023-25-2-434-444

Фефелов А.Ф. 2022. Дискурс вокруг cancel culture как объект лингвокультурного и переводческого анализа: логика против «логики» // Вестник НГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. Т. 20, № 1. С. 126-144. DOI 10.25205/1818-7935-2022-20-1-126-144

Фишман Л.Г. 2024. Эпоха потрясений как шанс на объединяющую российскую идентичность // Антиномии. Т. 24, № 1. С. 39-52. DOI 10.17506/26867206_2024_24_1_39

Элвессон М. 2005. Организационная культура. Харьков : Гуманитарный Центр. 460 с.

Appleman D. 2022. *Literature and the New Culture Wars: Triggers, Cancel Culture, and the Teacher's Dilemma*. W.W. Norton & Company. 192 p.

Bevernage B. 2018. *Narrating Pasts for Peace? A Critical Analysis of Some Recent Initiatives of Historical Reconciliation through 'Historical Dialogue' and 'Shared History'// The Ethos of History. Time and Responsibility / ed. by St. Helgesson, J. Svenungsson*. New York ; Oxford : Berghahn Books. P. 71-93.

Bracken P.J. 2002. *Trauma Culture, Meaning and Philosophy*. London : Whurr Publishers. 258 p.

Burke P. 1997. *History as Social Memory // Burke P. Varieties of Cultural History*. Ithaca : Cornell University Press. P. 43-59.

Finkelstein N. 2023. *I'll Burn that Bridge When I Get to It! Heretical Thoughts on Identity Politics, Cancel Culture, and Academic Freedom*. Sublation Press. 544 p.

Hübinette T., Wikström P., Samuelsson J. 2022. *Scientist or Racist? The Racialized Memory War Over Monuments to Carl Linnaeus in Sweden During the Black Lives Matter Summer of 2020 // Journal of Ethnic and Cultural Studies*. Vol. 9, iss. 3. P. 27-55. DOI 10.29333/ejecs/1095

Leyh B.M. 2020. *Imperatives of the Present: Black Lives Matter and the Politics of Memory and Memorialization // Netherlands Quarterly of Human Rights*. Vol. 38, iss. 4. P. 239-245. DOI 10.1177/0924051920967541

Lorenz C. 1994. *Historical Knowledge and Historical Reality: A Plea for "Internal Realism" // History and Theory*. Vol. 33, iss. 3. P. 342-376. DOI 10.2307/2505476

Ng E. 2022. *Cancel Culture. A Critical Analysis*. Cham : Palgrave Macmillan. 153 p.

Owens E. 2023. *The Case for Cancel Culture. How This Democratic Tool Works*

to Liberate Us. New York : St. Martin's Press. 256 p.

Rüsen J. 2004. How to Overcome Ethnocentrism: Approaches to a Culture of Recognition by History in the Twenty-First Century // *History and Theory*. Vol. 43, iss. 4. P. 118-129. DOI 10.1111/j.1468-2303.2004.00301.x

Swidler A. 1986. Culture in Action: Symbols and Strategies // *American Sociological Review*. Vol. 51. P. 273-286.

Velasco J.Ch. 2020. You are Cancelled: Virtual Collective Consciousness and the Emergence of Cancel Culture as Ideological Purging // *Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Human*. Vol. 12, iss. 5. P. 1-7. DOI 10.21659/rupkatha.v12n5.rioc1s21n2

White H. 1978. Historical Text as Literary Artifact // *The Writing of History. Literary Form and Historical Understanding* / ed. by R.H. Canary, H. Kozicki. Madison : The University of Wisconsin Press. P. 41-62.

Ziman J.M. 1998. Why Must Scientists Become More Ethically Sensitive Than They Used to Be? // *Science*. Vol. 282, iss. 5395. P. 1813-1814. DOI 10.1126/science.282.5395.1813

References

Alvesson M. *Organizational Culture*, Kharkov, Gumanitarnyi Tsent, 2005, 460 p. (In Russ.).

Anikin D.A., Batishchev R.Yu. "We Did Not Send You There": Media Representations of the War in Afghanistan and the Emergence and Practice of Cancel Culture in Post-Soviet Russia, *Journal of Media Studies*, 2024, vol. 6, no. 1, pp.172-187. (In Russ.). DOI 10.46539/gmd.v6i1.445

Appleman D. *Literature and the New Culture Wars: Triggers, Cancel Culture, and the Teacher's Dilemma*, W.W. Norton & Company, 2022, 192 p.

Assmann A. *Historical Amnesia – An Obsession with History*, Moscow, Novoye literaturnoye obozreniye, 2019, 552 p. (In Russ.).

Belyaeva E.V., Linkenko A.A. Ethization of History and Figures of Silence in Modern Cancel Culture, *Vorobyova O.V. (ed.) Silence and Silencing in History*, Moscow, Institut vseobshchey istorii RAN, 2023, pp. 300-322. (In Russ.).

Bevernage B. Narrating Pasts for Peace? A Critical Analysis of Some Recent Initiatives of Historical Reconciliation through 'Historical Dialogue' and 'Shared History', *Helgesson St., Svenungsson J. (eds.) The Ethos of History. Time and Responsibility*, New York & Oxford, Berghahn Books, 2018, pp. 71-93.

Bourdieu P. The Field of Science, *Bourdieu P. The Social Space: Fields and Practices*, Moscow, Institut eksperimental'noi sotsiologii, Saint Petersburg, Aleteiya, 2005, pp. 473-517. (In Russ.).

Bracken P.J. *Trauma Culture, Meaning and Philosophy*, London, Whurr Publishers, 2002, 258 p.

Burke P. History as Social Memory, *Burke P. Varieties of Cultural History*, Ithaca, Cornell University Press, 1997, pp. 43-59.

Deriglazova L.V., Pogorelskaya A.M. The Impact of Cancel Culture on Politics and International Relations, *Vestnik MGIMO-Universiteta* [MGIMO Review of International Relations], 2023, vol. 16, no. 4, pp. 7-33. (In Russ.). DOI 10.24833/2071-8160-2023-4-91-7-33

Fefelov A.F. The Discourse Around Cancel Culture as an Object of Linguocultural and Translation Analysis: Logic vs "Logic", *Vestnik NGU. Seriya: Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikatsiya* [Vestnik NSU. Series: Linguistics and Intercultural Communication], 2022, vol. 20, no. 1, pp. 126-144. (In Russ.). DOI 10.25205/1818-7935-2022-20-1-126-144

Finkelstein N. *I'll Burn that Bridge When I Get to It! Heretical Thoughts on Identity Politics, Cancel Culture, and Academic Freedom*, Sublation Press, 2023, 544 p.

Fishman L.G. Era of Upheaval as a Chance for Unifying Russian Identity, *Antinomii* [Antinomies], 2024, vol. 24, no. 1, pp. 39-52. (In Russ.). DOI 10.17506/26867206_2024_24_1_39

Golovashina O.V. H. White's "Metahistory" and the Social Conditions of Historical Responsibility, *Tempus et Memoria*, 2021, vol. 2, no. 2, pp. 73-79. (In Russ.). DOI 10.15826/tetm.2021.2.015

Hübinette T., Wikström P., Samuelsson J. Scientist or Racist? The Racialized Memory War Over Monuments to Carl Linnaeus in Sweden During the Black Lives Matter Summer of 2020, *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 2022, vol. 9, no. 3, pp. 27-55. DOI 10.29333/ejecs/1095

Leyh B.M. Imperatives of the Present: Black Lives Matter and the Politics of Memory and Memorialization, *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 2020, vol. 38, no. 4, pp. 239-245. DOI 10.1177/0924051920967541

Linchenko A.A. Forms of Historical Oblivion and Figures of Silence in Commemorative Practices of the Black Lives Matter Movement: A Comparative Analysis of Media Discourses in English-Speaking Countries, *Galactica Media: Journal of Media Studies*, 2024, vol. 6, no. 1, pp. 225-243. (In Russ.). DOI 10.46539/gmd.v6i1.447

Lorenz C. Historical Knowledge and Historical Reality: A Plea for "Internal Realism", *History and Theory*, 1994, vol. 33, no. 3, pp. 342-376. DOI 10.2307/2505476

Ng E. *Cancel Culture. A Critical Analysis*, Cham, Palgrave Macmillan, 2022, 153 p.

Owens E. *The Case for Cancel Culture. How This Democratic Tool Works to Liberate Us*, New York, St. Martin's Press, 2023, 256 p.

Rüsen J. How to Overcome Ethnocentrism: Approaches to a Culture of Recognition by History in the Twenty-First Century, *History and Theory*, 2004, vol. 43, no. 4, pp. 118-129. DOI 10.1111/j.1468-2303.2004.00301.x

Rustamova L.R., Ivanova D.G. Cancel Culture Towards Russia and How to Deal with It, *Vestnik Rossiyskogo universiteta družby narodov. Seriya: Politologiya* [RUDN Journal of Political Science], 2023, vol. 25, no. 2, pp. 434-444. (In Russ.). DOI 10.22363/2313-1438-2023-25-2-434-444

Swidler A. Culture in Action: Symbols and Strategies, *American Sociological Review*, 1986, vol. 51, pp. 273-286.

Velasco J.Ch. You are Cancelled: Virtual Collective Consciousness and the Emergence of Cancel Culture as Ideological Purging, *Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Human*, 2020, vol. 12, no. 5, pp. 1-7. DOI 10.21659/rupkatha.v12n5.rioc1s21n2

White H. Historical Text as Literary Artifact, *Canary R.H., Kozicki H. (eds.) The Writing of History. Literary Form and Historical Understanding*, Madison, The University of Wisconsin Press, 1978, pp. 41-62.

Ziman J.M. Why Must Scientists Become More Ethically Sensitive than They Used to Be? *Science*, 1998, vol. 282, no. 5395, pp. 1813-1814. DOI 10.1126/science.282.5395.1813

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Василий Николаевич Сыров

доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой онтологии, теории познания и социальной философии философского факультета Томского государственного университета, г. Томск, Россия;
ORCID: 0000-0002-5498-4610;
ResearcherID: O-5765-2014;
Scopus AuthorID: 56308818400;
SPIN-код: 4556-5160;
E-mail: narrat@inbox.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Vasily N. Syrov

Doctor of Philosophy, Professor, Head of the Department of Ontology, Epistemology and Social Philosophy, Faculty of Philosophy, Tomsk State University,
Tomsk, Russia;
ORCID: 0000-0002-5498-4610;
ResearcherID: O-5765-2014;
Scopus AuthorID: 56308818400;
SPIN-code: 4556-5160;
E-mail: narrat@inbox.ru



Котунова О.В. Моральная риторика «культуры отмены»: парадоксы концепта исторической ответственности // Антиномии. 2024. Т. 24, вып. 3. С. 23-37. https://doi.org/10.17506/26867206_2024_24_3_23

УДК 172.4

DOI 10.17506/26867206_2024_24_3_23

Моральная риторика «культуры отмены»: парадоксы концепта исторической ответственности

Ольга Владимировна Котунова

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

г. Москва, Россия

Томский государственный университет

г. Томск, Россия

E-mail: kotunovaov@gmail.com

Поступила в редакцию 11.06.2024, поступила после рецензирования 15.08.2024, принята к публикации 10.09.2024

В статье анализируются проблемы структурной организации «культуры отмены», а также формальные и содержательные следствия этих проблем. Объектом исследования выступает «культура отмены» как один из дискурсов, реализующих определенную функцию в дискурсивных пространствах исторической памяти и символической политики. Основным инструментом реализации дискурса «культуры отмены» является моральная риторика, а важнейшей риторической фигурой – апелляция к ответственности. «Культура отмены» признается дискурсом конфликта, имеющим целью восстановление справедливости, и анализируется в компаративистской связке с дискурсом суда. Показывается, что моральная риторика обеспечивает дискурсу «культуры отмены» инструментальную поддержку, служит обоснованию выдвигаемых притязаний и выполняет функцию идеализации этоса заинтересованной в этом группы людей (в то время как ее главной функцией должно быть обоснование причастности этоса к моральному идеалу). Историческая ответственность рассматривается как одно из важнейших понятий в моральном словаре «культуры отмены» в тех случаях, когда практики канселлинга обращены к прошлому. В рамках такого подхода она оказывается сложным многослойным концептом – конструкцией, в которой декларируемые цели отличаются от реализуемых. Утверждается, что требование реализации исторической ответственности в дискурсе «культуры отмены» может быть либо дискурсивной ошибкой, либо манипулятивной уловкой. Анализ дискурса «культуры отмены» осуществляется посредством обращения к этике дискурса П. Рикера, К.-О. Апеля и Ю. Хабермаса. Трудности и парадоксы реализации требования исторической ответственности в рамках дискурса «культуры отмены»



© Котунова О.В., 2024

раскрываются на примере кампании против мемориального наследия С. Родса. Делается вывод о том, что «культура отмены» как дискурс конфликта, направленный на восстановление справедливости, не может достичь заявленной цели. Это означает, что современное общество нуждается в альтернативных дискурсивных моделях.

Ключевые слова: «культура отмены», ответственность, историческая ответственность, дискурс, этика дискурса, исследования памяти, историческая память

Благодарности: Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-18-00465, <https://rscf.ru/project/23-18-00465/>

Moral Rhetoric of Cancel Culture: Paradoxes in the Concept of Historical Responsibility

Olga V. Kotunova

Lomonosov Moscow State University

Moscow, Russia

Tomsk State University

Tomsk, Russia

E-mail: kotunovaov@gmail.com

Received 11.06.2024, revised 15.08.2024, accepted 10.09.2024

Abstract. The article examines the problems of structural organization of cancel culture, the formal and substantive implications of these issues. The object of the study is cancel culture as a discourse that performs a specific function within the discursive spaces of historical memory and symbolic politics. The primary tool of cancel culture discourse is moral rhetoric, with the central rhetorical figure being the appeal to responsibility. Cancel culture is recognized as a discourse of conflict aimed at restoring justice and is analyzed in a comparative framework alongside the discourse of judgment. It is shown that moral rhetoric provides instrumental support to cancel culture discourse, justifying the claims it raises and functioning to idealize the ethos of the group involved (whereas its main function should be to justify the connection between the ethos and a moral ideal). Historical responsibility is viewed as one of key concepts in the moral vocabulary of cancel culture, especially when cancellation practices address the past. Under this approach, historical responsibility turns out to be a complex multi-layered concept – a construct in which the declared goals differ from the outcomes realized. It is argued that the demand for historical responsibility as part of the cancel culture discourse can either be a discourse error or a manipulative tactic. The structure of the cancel culture discourse is analyzed by reference to the discourse ethics of Paul Ricoeur, Karl-Otto Apel and Jürgen Habermas. The challenges and paradoxes of implementing historical responsibility within the framework of the cancel culture discourse are revealed through the example of the campaign against the commemorative legacy of Cecil Rhodes. It is concluded that cancel culture, as a conflict-driven discourse aimed at restoring justice, is unable to achieve its stated goal. This suggests that modern society needs alternative discursive models.

Keywords: cancel culture, responsibility, historical responsibility, discourse, discourse ethics, memory studies, historical memory

Acknowledgments: The research was carried out with the support of the Russian Science Foundation grant No. 23-18-00465, <https://rscf.ru/en/project/23-18-00465/>

For citation: Kotunova O.V. Moral Rhetoric of Cancel Culture: Paradoxes in the Concept of Historical Responsibility, *Antinomies*, 2024, vol. 24, iss. 3, pp. 23-37. (In Russ.). https://doi.org/10.17506/26867206_2024_24_3_23

Введение

«Культура отмены» – социокультурный феномен последнего времени, оценки и мнения относительно которого разнятся, доходя до полярных. С одной стороны, «культуру отмены» считают современной формой остракизма, сближают с понятием цензуры и видят в ней инструмент диктатуры меньшинства. С другой стороны, рассматривают как проявление рефлексивного отношения к окружающей действительности, мирную форму гражданского протеста и эффективный внеинституциональный регулятор общественных отношений (Bouvier, Machín 2021; Phelan 2023). Подобная разница в трактовках неудивительна. «Культура отмены» с формальной точки зрения, во-первых, способна успешно встраиваться в различные дискурсивные пространства; во-вторых, нетребовательна к содержанию, что делает ее простым и удобным инструментом декларации и обоснования любых притязаний.

Историко-философским контекстом настоящей статьи служит философия лингвистического поворота, которая позволяет изучать язык как онтологическую категорию. В соответствии с этим «культура отмены» будет рассмотрена как языковой феномен: дискурс определенного типа – коммуникативная модель со стабильной структурой, реализующаяся посредством моральной риторики. Теоретическая часть исследования посвящена проблемам структурной организации и моральной риторики, уточненным посредством компаративистики и дискурс-анализа. В практической части следствия этих проблем будут раскрыты на примере требования исторической ответственности в рамках кампании *Rhodes Must Fall*.

Проблемы моральной риторики в дискурсе «культуры отмены»

В современных исследованиях существует несколько подходов к интерпретации дискурса, однако расхождения вызваны в основном контекстуальной спецификой трактовки (Русакова 2007: 5-6). Если отвлечься от значимых различий, то можно выделить принципы, релевантные для всех подходов. Так, дискурс в узком смысле – это коммуникативная модель, которая устанавливает новые или трансформирует уже имеющиеся отношения между участниками коммуникации, сводя ее к повторяемой схеме со стабильными элементами. Из-за этого оказываются возможны формально воспроизводимые социальные практики, например, канселлинг.

Диспозиция элементов модели «культуры отмены» выглядит так: есть проблемная ситуация, вокруг которой разворачивается конфликт,

и несколько сторон, одна из которых является активной и маркирует проблемную ситуацию как неприемлемую. Активная сторона призывает всех участников дискурса к ответственному поведению под угрозой исключения из дискурсивного пространства, вплоть до стирания любых следов их пребывания в нем. При этом канселлингу подвергаются не только непосредственные виновники, но и те, кто, по мнению обвинителей, безответственно использует свой социальный капитал, отказываясь от попыток решения проблемы или проблематизации как таковой. Представленная коммуникативная модель позволяет отнести «культуру отмены» к дискурсу конфликта, имеющему своей целью восстановление справедливости, то есть к дискурсу, служащему для обоснования притязаний с последующим распределением между сторонами конфликта материальных и/или нематериальных благ.

Дискурсы конфликта разнообразны, среди них можно выделить исторические (например, кровная месть) или современные (в частности, журналистское расследование) коммуникативные модели. Однако наиболее известным и распространенным дискурсом конфликта является дискурс суда. В современном государстве этот дискурс институционализирован, а поддерживающая его судебная власть выделена в качестве одной из автономных ветвей власти; другая – законодательная – ветвь власти также участвует в обеспечении работы судопроизводства, что подчеркивает значимость этого дискурса для современного общества. Нередко считается, что дискурс суда является метадискурсом и способен заменить собой иные дискурсы конфликта; более того, отлаженная система судопроизводства в теории должна сделать их несостоятельными. Тем не менее на практике такие дискурсы продолжают возникать, и «культура отмены» является одним из них. Сравнительный анализ двух дискурсов позволяет понять, почему так происходит.

Коммуникативные модели, лежащие в основе суда и «культуры отмены», схожи по конфигурациям, но есть принципиальные различия.

1. Дискурсы имеют различные источники нормы. Если для суда источник нормы закон – общепринятый и юридически оформленный правовой акт, то для «культуры отмены» таковым, по-видимому, является мораль – совокупность общественных представлений о благе. Разница оказывается существенной, если принять во внимание, что правовая норма формально определена и зафиксирована документально и на этом основании общеобязательна к исполнению, обеспечена принудительной силой. Моральная норма подобным требованиям не отвечает, вследствие чего возникает ряд проблем: многозначность трактовок, неопределенность области применения, запрет на внешнее вменение и т.д.

2. В судопроизводстве есть гарант исполнения правовой нормы – персонификация формального закона в фигуре судьи. Вопрос, кто является гарантом исполнения моральных норм, традиционно остается открытым, но при канселлинге эта функция отдана обществу, что подразумевает непосредственную саморегуляцию, аналогичную демократии прямого типа. Однако рамки демократии в дискурсе «культуры отмены» значительно сужает третье различие.

3. Дискурс «культуры отмены», в отличие от дискурса суда, отказывает в состязательности – равном доступе к дискурсивному пространству всех участников процесса. Их присутствие рассматривается как привилегия, доступ к которой должен быть пересмотрен.

Намеченное сравнение может быть продолжено применительно к инструментам реализации дискурсов. В обоих случаях таким инструментом является риторика в аристотелевском смысле: как способ построения аргументации с целью убеждения в чем-либо относительно конкретных предметных областей (Аристотель 1978: 20). В отличие от Платона, относящегося к риторике критически и противопоставляющего ее цели как истине, так и благу, Аристотель, с определенными оговорками, считает риторику методом достижения и того и другого (Kennedy 1991: 87-98). Аристотель определяет риторику через понятие «технэ», которое означает не только искусство и ремесло, но и осмысленную преобразовательную деятельность, направленную на созидание практического знания. Этот метод отличается от открытия статичных эпистемологических истин, но находится в согласии с ними, поскольку также подчинен рефлексии (Лосев 1978: 8; Санжеников 2020). Таким образом, риторика, построенная в соответствии с аристотелевскими принципами, не противоположна ни эпистемологии, ни этике; напротив, она способна выполнять связующую функцию, осуществляя проверку и обосновывая притязания на истинность частного практического знания.

В нашем случае предметной областью риторики оказывается справедливость. Участники двух дискурсов обосновывают свои притязания, указывая на недостаток справедливости и требуя ее восстановления путем привлечения к ответственности другой стороны конфликта. И в том и в другом случае с помощью аргументов репрезентируется и защищается частная точка зрения – определенный этос. Апелляция к норме свидетельствует о попытках получить универсальное обоснование этоса, то есть доказать причастность своей трактовки к истине и благу.

Однако три вышеуказанных различия между дискурсами позволяют сделать вывод о том, что на уровне формального построения дискурс «культуры отмены» противоречит пониманию риторики как рефлексивного процесса обоснования. Неопределенность источника нормативности и ее гаранта в совокупности с отказом от состязательности приводят к тому, что индуктивные претензии на истину, составляющие суть рефлексивной риторики, заменяются дедуктивным постулатом о принадлежности истины определенной группе людей. Риторика в дискурсе «культуры отмены» перестает быть методом, позволяющим привести к истине и благу через доказательство; напротив, она узурпирует истину, выступая транслятором своей трактовки как универсальной. Отметим, что с близких позиций А. Сен критикует универсалистские построения концепции справедливости Дж. Ролза¹. Частное знание не может быть основанием для общего знания, нарушение логики ведет к разного рода парадоксам, которые будут

¹ Более подробно см.: (Балашов 2021: 22-24).

рассмотрены нами на примере требования исторической ответственности. Эти замечания определяют основное направление критики – структурную организацию дискурса «культуры отмены». Указать ее конкретные недостатки поможет дискурс-анализ.

Проблемы структурной организации дискурса «культуры отмены» в свете дискурс-анализа

Риторика остается узкоспециализированной служебной дисциплиной, назначение которой сводится к анализу построения речи и соответствующих ему правил – методологии рефлексивного самообоснования. Дискурс-анализ расширяет предметное поле языка, играющего роль универсального медиатора, области, в которой могут найти решение онтологические, гносеологические и этические проблемы. В оптике дискурс-анализа язык является не промежуточным звеном, способным с помощью рефлексии привести к истине или благу, а пространством их непосредственной реализации. Таким образом, дискурс-анализ должен помочь не только уточнить обнаруженную силами риторики проблему структурной организации дискурса «культуры отмены», но и приблизиться к ее решению, оставаясь в рамках формальной критики языка.

Ранее мы определили дискурс в узком смысле – как коммуникативную модель, с помощью которой устанавливаются и трансформируются отношения между участниками. В широком смысле дискурс представляет собой целостную коммуникативную метасистему, которая включает в себя все возможные коммуникативные модели. В оценке этического потенциала дискурса как метасистемы мнения специалистов расходятся. С определенными оговорками постструктуралисты наделяют дискурс негативным статусом, представители аналитической философии и структурализма – нейтральным, а представители этики дискурса и философии диалога – позитивным. Это замечание оказывается важным, поскольку ставит вопрос о том, являются ли проблемы «культуры отмены» частными или общими, обусловлены ли они структурой отдельной коммуникативной модели или же структурой коммуникативной системы в целом.

Принимая существование альтернативных точек зрения, в настоящей статье мы будем опираться на концепции П. Рикера, К.-О. Апеля и Ю. Хабермаса. Этих философов объединяют рассуждения о дискурсе как о нейтральной коммуникативной метасистеме, в рамках которой возможно существование различных коммуникативных моделей (Рикер 2008: 60-77; Apel 2001: 41). При таком подходе основной задачей оказывается выявление и устранение этически скомпрометированных моделей и поиск альтернатив. Последнее оказывается возможным вследствие того, что способность к речевой деятельности сама по себе обладает минимальным моральным фундаментом (Хабермас 2001: 120). Благодаря такой связке базовых характеристик системы (дискурса) и способностей каждого абстрактного пользователя этой системы (речевой деятельности) постулируется существование некоего гаранта возможности успешной и взаимно непротиворечивой

самореализации как отдельного человека, так и общества в целом. Однако из постулата о потенциальной возможности не следует обязательство ее реализации. Важно, как именно будет воплощен абстрактный дискурс: каковы условия формирования и функционирования конкретных дискурсов, правила их организации и т.д. Совокупность этих вопросов составляет предметное поле этики, которая и выступает вышеупомянутым гарантом.

Максимально широкие рамки при таком подходе позволяют рассматривать этику в трех аспектах – онтологическом, методологическом и практическом. На данном этапе нас интересует методологический аспект, а именно возможности этической экспертизы – оценки соответствия дискурса «культуры отмены» принципам формальной организации свободного дискурсивного пространства.

К.-О. Апель называет основным *принцип дискурса*: при организации свободного дискурсивного пространства к организатору предъявляется требование делегировать всем участникам право организации, то есть право на выработку норм аргументации, при условии, что эти нормы будут иметь значение только в случае согласия с ними всех участников. Затем следует *принцип достижения консенсуса*: согласие, возможность которого вводится принципом дискурса, должно являться для участников главной интенцией присоединения к дискурсу. На практике и в вопросах конкретного содержания дискурса консенсус может не состояться, но все участники должны считать его возможным. Третий принцип – *принцип универсализации* – призван служить страховкой от принятия нелегитимных консенсусов, иначе говоря, сговоров в защиту интересов отдельных групп: в зависимости от обстоятельств не все заинтересованные стороны могут принять участие в дискурсе, тем не менее при организации свободного дискурса должны быть защищены их интересы и представлены их мнения; только в таком случае консенсус будет признан легитимным (Назарчук 2002: 143-144).

В согласованном с этими принципами дискурсивном пространстве силами участников дискурса должны быть обеспечены свобода от принуждения, равноправие и открытость. Под свободой от принуждения понимается отказ от всех видов давления на стороны дискуссии, в частности от эксплицитных и имплицитных манипуляций, и решение вопросов силами аргументации. Вес аргументов определяется исходя из их самоценности, что исключает возможность дискриминации и уравнивает в правах всех участников дискурса. Это поддерживается идеей открытости дискурсивного пространства для всех потенциально заинтересованных участников: даже если они не обладают квалификацией касательно предмета дискуссии, то все равно получают возможность участия и репрезентации своих интересов, целей и ценностей, то есть своего этоса.

Этика дискурса возникла в рамках прагматического подхода, потому ее структура отражает взгляды представителей прагматизма на эпистемологию и мораль, которые заключаются в том, что истина и благо оказываются потенциально универсальными и достижимыми в будущем, но неполными в настоящем. Именно потому возможна единая для всех интенция к формальному консенсусу – истине и благу – при наличии множества частных

содержательных интенций (разнообразных этосов). Свободное дискурсивное пространство тогда представляет собой арену легитимной взаимоувязательной борьбы разнообразных этосов – так называемых малых этик, созидающих универсальную и всеобъемлющую этику, где каждый из участников дискурса защищает собственные притязания на причастность к абсолюту, при этом сознательно допуская возможность своей ошибки и правоты сторонников альтернативных взглядов.

К самой аргументации также применяется ряд требований: 1) понятный способ выражения, при котором говорящий должен заботиться о ясности высказывания; 2) истинность пропозиционального значения содержания высказывания, при котором высказывание должно быть сделано относительно фактов, в действительности имеющих место; 3) истинность намерений говорящего, при котором высказывание должно соответствовать принципиально осуществимым намерениям говорящего; 4) корректность высказывания относительно установленных в дискурсе норм (Habermas 2001: 63–64). По мнению Ю. Хабермаса, эти требования не являются внешними или искусственными по отношению к дискурсу, а представляют собой всеобщие предпосылки коммуникации как таковой, то есть составляют тот самый моральный фундамент всякого акта высказывания.

Таким образом, в соответствии с указанными принципами мы можем выделить две группы потенциальных нарушений или дискурсивных ошибок: ошибки организации новых дискурсов и нарушения правил уже существующих. Между ними нет строгой линии разграничения, поскольку принципы построения свободного дискурсивного пространства и принципы свободного высказывания составляют систему взаимной поддержки; такое разделение служит скорее инструментальной цели. Дискурс конфликта, организованный по модели «культуры отмены», нарушает принципы этики дискурса и выступает в качестве одной из двух представленных групп дискурсивных ошибок: в зависимости от того, рассматриваем ли мы дискурс «культуры отмены» автономно, как в случаях персонализированного канселлинга (ошибка организации дискурсивного пространства), или в составе другого, более широкого дискурса (нарушение правил дискурсивного пространства).

Теперь, когда этика дискурса подробно рассмотрена в методологическом аспекте, мы можем приступить к предметному анализу. Оценим структуру дискурса «культуры отмены» с точки зрения правил организации и моральную риторику с позиции правил аргументации. Наиболее любопытным примером в этой области служит протестный активизм, использующий в борьбе с институциональным притеснением вышеуказанные особенности дискурсивных структур: декларативно опираясь на выводы критической теории о перераспределении и социальной справедливости, представители протестных движений зачастую реорганизуют дискурсивное, а следом и социальное пространство не ко всеобщему благу, а к частной выгоде (Сальников, Сальникова 2021: 113–114).

В качестве примера рассмотрим кампанию *Rhodes Must Fall*, интересную тем, что практики канселлинга были обращены к проблемным событиям прошлого, нашедшим воплощение в фигуре С. Родса, и сопрово-

ждались требованием удалить следы его пребывания в мемориальном дискурсивном пространстве. При этом использовалась апелляция к исторической ответственности.

Трудности и парадоксы исторической ответственности в рамках кампании *Rhodes Must Fall*

Сесил Родс – английский предприниматель и политик второй половины XIX в. Он был видной фигурой британского империализма и колониализма, оказал существенное влияние на развитие Южной Африки, отметился амбициозными планами по преобразованию ее инфраструктуры. Его роль в регионе отражает, например, тот факт, что современные Замбия и Зимбабве долгое время носили названия Северной и Южной Родезии. Неудивительно, что связанное с ним обширное мемориальное наследие сохраняется по сей день.

Большую часть своего состояния С. Родс, умерший в 1902 г., завещал на развитие образования и учреждение различных стипендиальных программ в Южной Африке и Британии, благодаря чему его имя тесно связано с университетской средой. В Кейптаунском университете был установлен памятник С. Родсу; его именем назван старейший университет в Восточной Капской провинции и здание оксфордского Ориел-колледжа; в Оксфорде по сей день действует учрежденная им стипендиальная программа для иностранных студентов.

Единичные выступления против мемориального наследия С. Родса начались в 50-е гг. XX в. Они были частью более широкого движения борьбы против апартеида. И хотя апартеид как официальная политика расовой сегрегации в ЮАР берет отсчет с 1948 г., то есть начинается почти полвека спустя после смерти С. Родса, его правление в регионе считают предтечей апартеида. Полномасштабная кампания против него развернулась в 2015 г. на волне успехов другого антирасистского движения *Black Lives Matter*. Студенты Кейптаунского университета потребовали удалить памятник С. Родсу с территории университетского кампуса, так как видели в нем символ расового превосходства. Благодаря распространению в социальных сетях хештега *#RhodesMustFall* о кампании стало известно за пределами ЮАР, к ней присоединились британские активисты и студенты Ориел-колледжа, также указавшие на неприемлемость его присутствия в мемориальном пространстве.

В критике мемориального наследия С. Родса можно выделить два сопричастующих и взаимоподдерживающих направления – историческое и социальное. В первом случае он символизирует британский колониализм – определенный исторический период со свойственной ему экономической и социальной политикой, к которой англичанин был причастен. При социальной критике С. Родс выступает символом современного расизма, его присутствие в мемориальном пространстве является отражением фактической позиции университетских властей, которые отказались от политики сегрегации лишь доктринально. Можно заметить существенную разницу между двумя подходами. При историческом подходе имя Родса выступает знаком

первого порядка: означающее (Родс) и означаемое (колониальная политика) связаны между собой непосредственно: он был представителем власти в британской колониальной системе, не только поддерживал ее, но и способствовал ее распространению. При социальном подходе его имя выступает знаком второго порядка: между означающим (Родс) и означаемым (современный расизм) нет прямой связи, в этой знаковой пирамиде потерян еще один элемент – анонимные представители университетских властей, которые выступают означающим для современного расизма и означаемым для имени Родса.

Таким образом, представляется логичным в исследовательских целях разделить пространство, в котором осуществляется дискурс «культуры отмены», на историческое и социальное и, исходя из этого разделения, проанализировать два дискурса «культуры отмены» с опорой на принципы этики дискурса, а также выявить парадоксы концепта ответственности в составе моральной риторики «культуры отмены». Эту ответственность принято называть исторической, поскольку она возникает в связи с присутствием в дискурсивном пространстве исторической личности, но, возможно, не всегда исторической является. В случаях, когда исторический пример служит аллегорией современной ситуации, требование ответственности также обращено к настоящему времени: под маской исторической ответственности оказывается ответственность социальная, политическая и т.д.

Обратимся к дискурсивному пространству, которое мы условились называть историческим. В основе конфликта лежит проблема исторического колониализма – политики расовой сегрегации и угнетения, а сторонами конфликта оказываются инициативная группа как представители современности и С. Родс как представитель прошлого. Согласно логике «культуры отмены», обвиненная в неприемлемом поведении сторона должна принять на себя ответственность и вербально продемонстрировать отказ от неприемлемого поведения (прекратить деятельность, принести извинения, компенсировать ущерб), в противном случае она будет исключена из дискурсивного пространства. Однако в случае мемориальных конфликтов ситуация осложняется неравным онтологическим статусом их участников, а значит, альтернативы исключению попросту отсутствуют: С. Родс не имеет возможности выступить в роли ответчика по предъявленным обвинениям и отказаться от неприемлемого поведения, поэтому его мемориальное наследие должно быть изъято.

В данном случае модель, свойственная дискурсу «культуры отмены», нарушает принципы организации свободного дискурсивного пространства. Во-первых, дискурс иницируется и ведется согласно правилам, определенным лишь одной стороной конфликта, что сужает возможности диалога и расширяет возможности манипуляции (нарушение принципа дискурса). Во-вторых, ключевая задача дискурса, сформулированная здесь как ликвидация мемориального наследия, подразумевает лишь один сценарий урегулирования конфликта – полное удовлетворение требований инициативной группы (нарушение принципа консенсуса). В-третьих, все заинтересованные в предмете обсуждения стороны должны быть представлены

в дискурсивном пространстве вне зависимости от своего онтологического статуса (если не лично, то посредством возможных аргументов в защиту их позиции). В случае С. Родса аргументы стороны защиты не предполагаются, а если и возникают, то расцениваются как автоматическое признание совиновности (нарушение принципа универсализации).

Таким образом, случай канселлинга С. Родса в историческом дискурсивном пространстве является дискурсивной ошибкой, поскольку не отвечает требованиям, предъявляемым к свободным дискурсам. Допущенные при организации дискурса ошибки становятся препятствием на пути реализации заявленной цели – восстановления справедливости через вменение ответственности, а предполагаемые последствия ошибок приведут к результатам, противоречащим изначальным целям.

В юридической практике, а следом за ней и в философской мысли принято говорить о двух сторонах ответственности – ретроспективной и перспективной. Если первый вид ответственности сопрягается с понятием вины, то второй – с понятием справедливости (Рикер 2005: 41-43). В акте канселлинга сочетаются оба вида ответственности, что позволяет нам включить в обсуждение третью сторону конфликта – университетские власти. Субъектом вменения ретроспективной ответственности по-прежнему является С. Родс, однако ввиду его фактического отсутствия инициативной группой осуществляется перенос ответственности на университетские власти. В результате этого переноса меняется и вид ответственности – с ретроспективной «ответственности за» на перспективную «ответственность перед». Как следствие, риторика вины и возмещения ущерба, характерная для ретроспективной ответственности, должна уступать место свободной дискуссии о справедливости. Однако реализация требования исключить С. Родса исключит из дискурсивного пространства и саму проблему. Согласие университетских властей на такой шаг парадоксальным образом будет являться отказом от трудного наследия, то есть освобождением от исторической ответственности – того самого диалектического напряжения, которое поддерживает дискурс о справедливости открытым рефлексивным пространством, в рамках которого возможно ответственное суждение «никогда больше» (Gondringer 2021; Veil, Waymer 2021).

Представляется, что парадоксальность, при которой реализация требования ответственности становится отказом от нее, оказывается возможной вследствие смешения двух дискурсов, названных выше историческим и социальным, и двух соотносящихся с ними типов ответственности.

Для социального дискурсивного пространства ситуация вокруг мемориального наследия С. Родса является частным случаем антирасистской кампании. Акт канселлинга в данном случае может рассматриваться как один из аргументов в составе риторики более широкого дискурса – антирасистского. Этот аргумент можно сформулировать следующим образом: тот, кто оказывает поддержку мемориальному наследию С. Родса, солидаризируется с его взглядами на колониальную политику, а значит, поддерживает расизм в современном обществе; выступающие против расизма должны доказать это, исключив английского политика из дискурсивного

пространства. Если акт канселлинга можно считать аргументированным высказыванием, то он может быть соотнесен с правилами, действующими в свободном дискурсивном пространстве (при условии, что мы признаем антирасистский дискурс свободным и соответствующим принципам дискурсивной этики).

Напомним, что всего таких правил четыре: ясность высказывания; истинность пропозиционального содержания высказывания; истинность и выполнимость намерений говорящего; корректность высказывания. Что касается правила ясности, то сформулированное выше высказывание нельзя назвать прозрачным, поскольку оно представляет собой аллгорию и поэтому нуждается в реконструкции. Истинность пропозиционального содержания высказывания остается дискуссионным вопросом, поскольку вторая часть импликации (утверждение о солидарности с политическими взглядами С. Родса) может быть и истинной, и ложной: причин поддержки мемориального наследия довольно много, в том числе реализация исторической ответственности. Вследствие этого правило выполнимости намерений говорящего, если считать таковыми выявление в обществе людей с расистскими взглядами, также оказывается нарушенным. А ультимативная форма высказывания противоречит принципу корректности.

Таким образом, акт канселлинга, осуществляемый в социальном дискурсивном пространстве, не является свободным и ответственным высказыванием. Напротив, он призван оказать давление на другую сторону конфликта, склонить ее к определенным действиям и в итоге универсализировать собственные представления об истине и благе. Опосредованное осуществление высказывания (силами и средствами, заимствованными у исторического дискурсивного пространства) указывает на слабость аргументов, которые могли бы быть представлены в рамках антирасистского дискурса, принадлежащего социальному дискурсивному пространству, и раскрывает канселлинг как манипулятивную практику.

Заключение

Мы рассмотрели «культуру отмены» с точки зрения критического анализа, позволившего раскрыть ее слабые стороны: указали проблемы структурной организации и моральной риторики «культуры отмены» и разобрали следствия этих проблем на примере кампании против мемориального наследия С. Родса. Общий вывод состоит в том, что «культура отмены» как дискурс конфликта, организованный с целью восстановления справедливости, не может достичь заявленной цели. Принцип отмены – исключения из дискурсивного пространства проблемных фигур, событий или эпох – при условии фактической реализации служит не разрешению или урегулированию, а скорее консервации конфликта. Кроме того, попытки обоснования притязаний за счет обращения к дискурсу «культуры отмены» ведут к экстраполяции ценностей и норм локального этоса на систему универсальной морали, то есть узурпации общественных представлений о справедливости, ответственности, истине и благе.

Можно задаться вопросом, почему практики канселлинга сегодня столь популярны и свидетельством чего эта популярность является. В самом начале статьи мы указали среди достоинств «культуры отмены» ее функциональность – простоту и удобство организации дискурса в различных дискурсивных пространствах. Другой важной характеристикой «культуры отмены» является ее внеинституциональность. В рамках компаративистского анализа дискурсов суда и «культуры отмены» внеинституциональность последней могла бы стать общим обозначением всех перечисленных недостатков, однако с точки зрения доступа к содержательному разнообразию является скорее достоинством: предметное поле дискурса «культуры отмены» подтверждает его формальную универсальность.

Представляется, что дискурс «культуры отмены» удовлетворяет потребности общества в удобных и функциональных дискурсивных моделях, а потому будет использоваться и в дальнейшем, даже при сохранении выявленных нами в ходе критического анализа недостатков. Это, в свою очередь, означает, что общество нуждается в альтернативных дискурсивных моделях. Этика дискурса, рассмотренная нами как средство оценки уже существующих дискурсов, обладает не только критическим, но и позитивным потенциалом. Принципы организации свободного дискурсивного пространства в связке с правилами аргументированного высказывания могут служить как критерием оценки, так и фундаментом для построения новых дискурсов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Аристотель. 1978. Риторика // Античные риторика / под ред. А.А. Тахо-Годи. Москва : Издательство Московского университета. С. 15-164.

Балашов Д.В. 2021. Дистрибутивные теории справедливости: от утилитаризма и обратно // Антиномии. Т. 21, № 3. С. 7-29. DOI 10.17506/26867206_2021_21_3_7

Лосев А.Ф. 1978. Античные теории языка и стиля в их историко-литературной значимости // Античные риторика / под ред. А.А. Тахо-Годи. Москва : Издательство Московского университета. С. 5-12.

Назарчук А.В. 2002. Этика глобализирующегося общества. Москва : Директмедиа Паблишинг. 384 с.

Рикер П. 2005. Справедливое. Москва : Гнозис : Логос. 279 с.

Рикер П. 2008. Я-сам как другой. Москва : Издательство гуманитарной литературы. 416 с.

Русакова О.Ф. 2007. Основные теоретико-методологические подходы к интерпретации дискурса // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. № 7. С. 5-34.

Сальников Е.В., Сальникова И.Н. 2021. Противодействие расизму в спорте или его новый виток: противоречивые практики движения Black Lives Matter // Дискурс-Пи. Т. 18, № 2. С. 111-124. DOI 10.17506/18179568_2021_18_2_111

Санженанов А.А. 2020. Истоки аналитического подхода к проблемам техники: Аристотель об эпистеме и технэ // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. № 53. С. 128-132. DOI 10.17223/1998863X/53/13

Хабермас Ю. 2001. Моральное сознание и коммуникативное действие. Санкт-Петербург : Наука. 382 с.

Apel K.-O. 2001. *The Response of Discourse Ethics to the Moral Challenge of the Human Situation as Such, Especially Today*. Leuven : Peeters Publishers. 118 p.

Bouvier G., Machín D. 2021. What Gets Lost in Twitter 'Cancel Culture' Hashtags? Calling Out Racists Reveals Some Limitations of Social Justice Campaigns // *Discourse & Society*. Vol. 32, iss. 3. P. 307-327. DOI 10.1177/0957926520977215

Gondringer M. 2021. *Cancel Culture and Cancel Discourse: Cultural Attacks on Academic Ideals*. Saint Cloud : St. Cloud University Press. 85 p.

Habermas J. 2001. *On the Pragmatics of Social Interaction: Preliminary Studies in the Theory of Communicative Action*. Cambridge : The MIT Press. 192 p.

Kennedy G. 1991. *Aristotle on Rhetoric: A Theory of Civic Discourse*. New York : Oxford University Press. 352 p.

Phelan S. 2023. Seven Theses About the So-Called Culture War(s) (or Some Fragmentary Notes on 'Cancel Culture') // *Cultural Studies*. P. 1-26. DOI 10.1080/09502386.2023.2199309

Veil Sh.R., Waymer D. 2021. Crisis Narrative and the Paradox of Erasure: Making Room for Dialectic Tension in a Cancel Culture // *Public Relations Review*. Vol. 47, iss. 3. DOI 10.1016/j.pubrev.2021.102046

References

Apel K.-O. *The Response of Discourse Ethics to the Moral Challenge of the Human Situation as Such, Especially Today*, Leuven, Peeters Publishers, 2001, 118 p.

Aristotle. *Rhetoric*, *Takho-Godi A.A. (ed.) Antique Rhetorics*, Moscow, Izdatelstvo Moskovskogo universiteta, 1978, pp. 15-164. (In Russ.).

Balashov D.V. Distributive Theories of Justice: From Utilitarianism and Back, *Antinomii [Antinomies]*, 2021, vol. 21, no. 3, pp. 7-29. (In Russ.). DOI 10.17506/26867206_2021_21_3_7

Bouvier G., Machín D. What Gets Lost in Twitter 'Cancel Culture' Hashtags? Calling Out Racists Reveals Some Limitations of Social Justice Campaigns, *Discourse & Society*, 2021, vol. 32, no. 3, pp. 307-327. DOI 10.1177/0957926520977215

Gondringer M. *Cancel Culture and Cancel Discourse: Cultural Attacks on Academic Ideals*, Saint Cloud, St. Cloud University Press, 2021, 85 p.

Habermas J. *Moral Consciousness and Communicative Action*, Saint Petersburg, Nauka, 2001, 382 p. (In Russ.).

Habermas J. *On the Pragmatics of Social Interaction: Preliminary Studies in the Theory of Communicative Action*, Cambridge, The MIT Press, 2001, 192 p.

Kennedy G. *Aristotle on Rhetoric: A Theory of Civic Discourse*, New York, Oxford University Press, 1991, 352 p.

Losev A.F. Antique Theories of Language and Style in Their Historical and Literary Significance, *Takho-Godi A.A. (ed.) Antique Rhetorics*, Moscow, Izdatelstvo Moskovskogo universiteta, 1978, pp. 5-12. (In Russ.).

Nazarchuk A.V. *Ethics of a Globalizing Society*, Moscow, Direktmedia Publishing, 2002, 384 p. (In Russ.).

Phelan S. Seven Theses About the So-Called Culture War(s) (or Some Fragmentary Notes on 'Cancel Culture'), *Cultural Studies*, 2023, pp. 1-26. DOI 10.1080/09502386.2023.2199309

Ricoeur P. *Oneself as Another*, Moscow, Izdatelstvo gumanitarnoj literatury, 2008, 416 p. (In Russ.).

Ricoeur P. *The Just*, Moscow, Gnozis & Logos, 2005, 279 p. (In Russ.).

Rusakova O.F. Basic Theoretical and Methodological Approaches to the Interpretation of Discourse, *Nauchnyj ezhegodnik Instituta filosofii i prava Ural'skogo otdelenija Rossijskoj akademii nauk* [Research Yearbook of the Institute of Philosophy and Law of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences], 2007, no. 7, pp. 5-34. (In Russ.).

Salnikov E.V., Salnikova I.N. Countering Racism in Sport or Its New Round: Controversial Practices of the Black Lives Matter Movement, *Diskurs-Pi* [Discourse-P], 2021, vol. 18, no. 2, pp. 111-124 (In Russ.).

Sanzhenakov A.A. The Origins of an Analytical Approach to the Problems of Technology: Aristotle on Episteme and Techne, *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofija. Sociologija. Politologija* [Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science], 2020, no. 53, pp. 128-132. (In Russ.). DOI 10.17223/1998863X/53/13

Veil Sh.R., Waymer D. Crisis Narrative and the Paradox of Erasure: Making Room for Dialectic Tension in a Cancel Culture, *Public Relations Review*, 2021, vol. 47, no. 3. DOI 10.1016/j.pubrev.2021.102046

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Ольга Владимировна Котунова

кандидат философских наук, младший научный сотрудник кафедры этики философского факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия; младший научный сотрудник философского факультета Томского государственного университета, г. Томск, Россия;

ORCID: 0009-0006-4026-4168;

E-mail: kotunovaov@gmail.com

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Olga V. Kotunova

Candidate of Philosophy, Junior Researcher, Department of Ethics, Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia; Junior Researcher, Faculty of Philosophy, Tomsk State University, Tomsk, Russia; ORCID: 0009-0006-4026-4168; E-mail: kotunovaov@gmail.com



Головашина О.В. «Культура отмены»: исключенность и историческая идентичность // Антиномии. 2024. Т. 24, вып. 3. С. 38-54. https://doi.org/10.17506/26867206_2024_24_3_38

УДК 130.12

DOI 10.17506/26867206_2024_24_3_38

«Культура отмены»: исключенность и историческая идентичность

Оксана Владимировна Головашина

Институт философии и права Уральского отделения РАН

г. Екатеринбург, Россия

Томский государственный университет

г. Томск, Россия

E-mail: ovgolovashina@mail.ru

*Поступила в редакцию 25.03.2024, поступила после рецензирования 18.04.2024,
принята к публикации 20.05.2024*

В статье предпринята попытка исследования «культуры отмены» как современной формы остракизма через оптику исключения М. Фуко. Акцент сделан на взаимосвязи социальной идентичности и «культуры отмены». Идентичность осмыслена как символический ресурс, охарактеризовано влияние дискурсивных стратегий на процесс идентификации. Особое внимание уделено запрету как форме контроля над дискурсом. Показано, что запрет проявляется в исключении, которому подвергается не столько конкретный человек, сколько дискуссия или сама возможность дискуссии. Проанализированы необходимые для решения поставленной задачи концепты М. Фуко: дисциплинарная власть, режимы истины, норма как инструмент принуждения. Выявлены особенности механизма исключения в разные эпохи. Обосновано, что проводником дисциплинарной власти в современном мире могут выступать социальные медиа. Через различные медиаканалы и социальные сети индивид испытывает влияние экономических, политических, культурных акторов, заставляющих соблюдать определенные правила. И сегодня он более подконтролен, чем в описываемом М. Фуко Паноптиконе, благодаря видеокамерам и другим устройствам «умного города», цифровым следам и т.д. Также в статье продемонстрированы возможности использования намеченной ранее оптики для анализа «культуры отмены». Новая норма касается не столько тела, сколько этических оценок и правильного (нормального) поведения. Само существование канселлинга, распространение случаев его применения задает рамки должного. Невозможность совершения определенных действий и поступков из-за ожидания реакции и боязни отмены влияет не только на проявления, но и на идентичность саму по себе. Показано,



© Головашина О.В., 2024

что «культура отмены», распространившаяся ради повышения инклюзивности, то есть свободы самовыражения представителей угнетенных прежде групп, теперь выступает в качестве ограничения свободы через контроль. Сделан вывод о том, что «культура отмены», констатируя приоритет этического над инструментальным использованием прошлого, конструирует формы идентичности через принудительную релевантность, то есть само ее существование задает рамки поведения, поступков, высказываний.

Ключевые слова: «культура отмены», М. Фуко, инклюзивность, норма, исключенность, историческая идентичность, идентификация

Благодарности: Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-18-00465, <https://rscf.ru/project/23-18-00465/>

Cancel Culture: Exclusion and Historical Identity

Oksana V. Golovashina

Institute of Philosophy and Law of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
Yekaterinburg, Russia

Tomsk State University

Tomsk, Russia

E-mail: ovgolovashina@mail.ru

Received 25.03.2024, revised 18.04.2024, accepted 20.05.2024

Abstract. The article attempts to investigate cancel culture as a modern form of ostracism through the lens of exclusion proposed by Michel Foucault. The research focuses on the relationship between social identity and cancel culture. Identity is conceptualised as a symbolic resource, and the influence of discursive strategies on the process of identification is examined. Special attention is given to prohibition as a form of controlling discourse. It is shown that prohibition manifests itself in exclusion, affecting not so much a particular person but rather a discussion or even the very possibility of a discussion. Foucault's key concepts are analysed in relation to this task: disciplinary power, regimes of truth, and the norm as an instrument of coercion. The peculiarities of the exclusion mechanism in different epochs are studied. It is argued that social media can serve as a conduit for disciplinary power in the modern world. Through various media channels and social networks, individuals are influenced by economic, political, and cultural actors who compel them to comply with certain rules. Today, individuals are more controllable than in the Panopticon described by Foucault due to surveillance cameras, smart city technologies, digital footprints, and other tools. The article also demonstrates how the previously outlined framework can be applied to the analysis of cancel culture. The new norm focuses less on the body and more on ethical judgements and socially accepted (normal) behaviour. The mere existence of cancelling, along with the increasing instances of its application, sets the boundaries for what is deemed proper. The inability to perform certain actions due to the expectation of backlash and fear of cancellation affects not only their manifestations, but also identity itself. It is shown that cancel culture, originally spread to promote inclusiveness and the freedom of expression for previously oppressed groups, now functions as a restriction of freedom through control. It is concluded that cancel culture, by prioritising ethical over instrumental uses of the past, constructs identity

through coercive relevance, i.e. its very existence dictates the framework for behaviour, actions and statements.

Keywords: cancel culture, Michel Foucault, inclusivity, norm, exclusion, historical identity, identification

Acknowledgments: The research was carried out with the support of the Russian Science Foundation grant No. 23-18-00465, <https://rscf.ru/en/project/23-18-00465/>

For citation: Golovashina O.V. Cancel Culture: Exclusion and Historical Identity, *Antinomies*, 2024, vol. 24, iss. 3, pp. 38-54. (In Russ.). https://doi.org/10.17506/26867206_2024_24_3_38

Введение

«Заставить человека, страдающего душевным заболеванием, признать, что он безумен, – чрезвычайно древняя процедура. Все представители старой медицины – до середины девятнадцатого столетия – были убеждены в несовместимости безумия и его признания. Например, в сочинениях семнадцатого и восемнадцатого веков содержится масса примеров того, что можно было бы назвать терапией истиной. Безумец исцелится, если кто-то покажет ему, что его бред не имеет никакого отношения к действительности» (Фуко 2008а: 68). Этот тезис, высказанный в речи «О начале герменевтики себя», М. Фуко использует как пример «странных и сложных отношений, установившихся в наших обществах между индивидуальностью, дискурсом, истиной и принуждением» (Фуко 2008а: 68). Признание того, кто ты такой, необходимо для спасения, пишет французский мыслитель, однако в других своих текстах он обосновывает, что знание оказывается следствием практик власти, а истина сама по себе выступает следствием доминирующего дискурса. То есть человек стремится к пониманию себя и «практикам себя», сообщая о себе в том числе и через культивирование дихотомии «Я – Другой», но это понимание и соответствующая практика выступают как одно из проявлений дискурсивных стратегий и механизмов принуждения, определяющих режимы истины (Фуко 2008b).

Вместо признания своего сумасшествия, то есть того, что мой «дискурс не может циркулировать так, как дискурс других»¹, современные практики отбора и запрета строятся вокруг не только собственной идентичности, но и новых форм инклюзивности и признания Другого, обязывая «рассматривать традиционные различия (племенные, религиозные, расовые, обрядовые и им подобные) как несущественные по сравнению со сходствами, касающимися боли и унижения – со способностью считать “нашими” людей, имеющих с нами колоссальные различия» (Рорти 1996: 243). Несогласных с этим не заключают в лепрозории или заменившие их сумасшедшие дома (Фуко 2010), но, как в рассказе Р. Силверберга «Увидеть человека-невидимку» (1963), делают «невидимыми», отменяя субъекта вы-

¹Фуко М. Порядок дискурса // Гуманитарный портал. URL: <https://gtmarket.ru/library/articles/777?ysclid=ltjtt7q8k5698906055> (дата обращения: 22.03.2024).

сказывания, которое не соответствует сложившимся дискурсивным стратегиям и трактовкам идентичности.

В 2019 г. *Macquarie Dictionary* назвал «культуру отмены» словом года, потому что «оно стало, к лучшему это или к худшему, мощной силой»². В настоящей статье «культура отмены» рассматривается как практика исключения индивида, бренда, компании, современная форма остракизма, в основе которой лежит приоритет этических форм идентичности. Акцент сделан на взаимосвязи идентичности и «культуры отмены», поэтому вопросы, связанные с влиянием канселлинга на свободу слова или с «культурой отмены» как новой формой социальной справедливости, которых уже касались исследователи (Lukianoff, Haidt 2018; Dershowitz 2020; Donnelly 2021; Kovalik 2021; Ng 2022), остаются за пределами внимания. Под идентичностью имеется в виду социальная (историческая) идентичность, то есть речь пойдет об идентичности не индивида, а сообществ. Это обусловлено тем, что практики «культуры отмены», несмотря на то что зачастую касаются отдельного человека, вызывают реакцию сообщества, и только оно, а не отдельный человек, может выступать актором отмены. Основное внимание сосредоточено на социальной (исторической) идентичности, чтобы не концентрироваться на особенностях использования расовых, гендерных и прочих различий в практиках канселлинга; к тому же любую коллективную идентичность можно рассматривать как социальную. Анализируя случаи канселлинга через оптику, предлагаемую М. Фуко, мы рассмотрим инверсию инклюзивности в исключенность, а также способы конструирования новых форм идентичности при помощи «культуры отмены».

Идентичность как ресурс

В соответствии с конструктивистской моделью идентичность сообщества представляет собой не константу, а практику идентификации, то есть не существует заданной раз и навсегда идентичности, она постоянно переосмысливается в зависимости от исторического и социального контекста. Несмотря на то что не каждую идентичность можно изобрести (Лавабр 1995; Osiel 1997), действия акторов, мероприятия, ритуалы и так далее позволяют в определенной степени управлять этой практикой в своих интересах: «Особые исторические социальные структуры порождают типы идентичности, которые опознаются в индивидуальных случаях» (Бергер, Лукман 1995: 280). То есть идентичность представляет собой не только понятие, которое изучают ученые, или психологический процесс, но и политическую практику. Признание динамичности исторической идентичности связано с отказом от онтологического статуса прошлого и конституированием истории в качестве набора инструментов и «автобиографии сообщества» (Leone, Curigliano 2009). В случае идентичности прошлое становится практическим, в том смысле, который имел в виду Х. Уайт, то есть представляет собой не столько знание о произошедшем, сколько оказывается ресурсом для решения

² The Committee's Choice & People's Choice Word of the Year 2019 // Australian Macquarie Dictionary. URL: <https://www.macquariedictionary.com/au/resources/view/word/of/the/year> (дата обращения: 22.03.2024).

повседневных проблем или этических коллизий. Примеры такого использования можно найти в практиках политики памяти, социального конструирования различных групп и сообществ, национальных идеологиях.

Оставляя за скобками многообразие практик, позволяющих использовать идентичность как символический ресурс (Goffman 1968; David 2014; Sherlock 2020; Моран 2021; Сыров 2023), мы предлагаем обратить внимание на влияние дискурсивных стратегий на процесс идентификации. Практики идентификации следуют из дискурсивных стратегий, то есть дискурсивное управление коллективом имеет тенденцию порождать интерпретации, которые, в свою очередь, могут формировать личную и социальную идентичность; повествовательные особенности текста оправдывают его полезность в качестве ресурса идентичности для личного и коллективного Я. В контексте задач, поставленных в статье, наибольший интерес представляет запрет как форма контроля над дискурсом, которая заключается в сужении области свободной дискуссии. В качестве примера можно привести практики советской цензуры или ограничение возможности высказываться женщинам и представителям сексуальных меньшинств в определенные периоды. Можно сказать, что запрет проявляется в исключении, причем исключению подвергается не столько конкретный человек, сколько дискуссия или сама возможность дискуссии.

К. Уэст предлагает мысленный эксперимент: цензура начала использовать технические изобретения, и теперь граждане не могут понимать язык каждый раз, как начинают высказывать определенные взгляды, или соответствующий чип можно ввести определенной группе лиц, выделенной по какому-либо признаку. То есть их способность высказываться сохраняется, они даже могут быть услышаны, но дискуссия оказывается невозможной³. Запрет как форма контроля дискурса, таким образом, проявляется не только в прямой невозможности высказывания определенных идей, реализации присущей нам способности говорить, но и в затруднении достижения при помощи возможных дискурсивных практик желаемого говорящими результата. Акт коммуникации, представляя собой социальную практику, зависим от системы отношений, прежде всего, властных; соответственно, высказывание оказывается возможным только в том случае, если акторами создаются условия для этого. И если практики советской цензуры оправдывали исключение интересами господствующего класса или партии, то «культура отмены», защищая в большинстве случаев инклюзивность, исключает тех, кто не соглашается или производит впечатление, что не соглашается с транслируемым определением инклюзивности.

Происходит инверсия инклюзивности в исключение: вместо увеличения возможного разнообразия сужается сама его возможность. Например, «культура отмены» выступает за равные права граждан, вне зависимости от их гендера, но не обращает внимания на классовые и социальные различия. Можно стать отмененным из-за высказываний о трансгендерах или

³Finlayson L. Loose Threads // Sidecar. 23.11.2023. URL: <https://newleftreview.org/sidecar/posts/loose-threads> (дата обращения: 22.03.2024).

афроамериканцах, но не было случая, чтобы исключали, например, за анти-семитизм. Инклюзивностью, таким образом, является только то, что принято считать ею в доминирующих дискурсивных стратегиях. Поэтому в США отменяют тех, кого считают расистами, или оскорбляющих трансгендеров⁴, в России – тех, кто не поддерживает традиционные ценности⁵, в Китае – не признающих государственных границ и оскорбляющих национальных производителей⁶.

Речь идет не только о словах самих по себе или отдельных кейсах. Вне зависимости от того, что послужило причиной, «культура отмены» выходит за рамки отмены отдельных людей или брендов. Она также направлена на демонтаж всей структуры меритократии (оценки людей по совокупности их достижений и добродетелей) и замену ее иерархией, основанной на идентичности. Меритократия распространилась в США именно для того, чтобы заменить европейскую иерархию, основанную на родословных, классах, религии и других идентичностях. Попытка «культуры отмены» заменить меритократию привилегиями идентичности является зеркальным отражением дискредитированных иерархий прошлого. Прежние заслуги и популярность, положение, соответствующее заслугам, успехам, достижениям в течение всей жизни, перестают иметь значение после одного поступка

⁴ Joubert A.M., Coffin J. Celebrities Can be Cancelled. Fandoms are Forever // The Conversation. 07.07.2020. URL: <https://theconversation.com/celebrities-can-be-cancelled-fandoms-are-forever-141775>; Shead S. J.K. Rowling Criticizes 'Cancel Culture' in Open Letter Signed by 150 Public Figures // CNBC. 08.07.2020. URL: <https://www.cnbc.com/2020/07/08/jk-rowling-cancel-culture.html>; Flynn K. Teen Vogue's New Editor Out of a Job after Backlash Over Old Tweets // Cable News Network (CNN). 20.03.2021. URL: <https://edition.cnn.com/2021/03/18/media/alexi-mccammond-teen-vogue-out/index.html> (дата обращения: 22.03.2024).

⁵ Елкин И. Отмена звезд с «голой» вечеринки: почему россияне не поверили их извинениям? // Российская газета. 28.12.2023. URL: <https://rg.ru/2023/12/28/otmena-zvezd-s-goloi-vecherinki-pochemu-rossiiane-ne-poverili-ih-izviniyam.html> (дата обращения: 22.03.2024).

⁶ Davis R. Chloe Zhao's 'Nomadland' Censored by China after Nationalist Backlash // Variety. 05.03.2021. URL: <https://variety.com/2021/film/news/chloe-zhao-nomadland-china-censorship-1234922882/>; Chinese Netizens Boycott Thai Boys' Love Drama '2gether: The Series' Due to Inappropriate Comment about COVID-19 by Leading Actor's Girlfriend // Global Times. 12.04.2020. URL: <https://www.globaltimes.cn/content/1185359.shtml>; Li Y. Over 30 Chinese Stars Cut Ties with Brands Including Nike, HM, and Adidas, Standing Firmly Behind Xinjiang Cotton // Global Times. 25.03.2021. URL: <https://www.globaltimes.cn/page/202103/1219474.shtml>; Hall C., Suen Z. Dolce & Gabbana China Show Cancelled Amid Racism Outcry // The Business of Fashion. 21.11.2018. URL: <https://www.businessoffashion.com/articles/fashion-week/racism-accusations-force-dolce-gabbana-to-cancel-chinese-fashion-show>; Tanakasempipat P., Potkin F. Insta-Star Wars: China Tensions in Southeast Asia Flare Online // Reuters. 14.04.2020. URL: <https://www.reuters.com/article/us-thailand-china-internet/insta-star-wars-china-tensions-in-southeast-asia-flare-online-idUSKCN21W11P/>; Teh Ch. Chinese Social-Media Users Burn Their Nikes after the Company Says It's 'Concerned' about Forced Labor of Uyghurs in Xinjiang // Business Insider. 25.03.2021. URL: <https://www.insider.com/chinese-weibo-angry-xinjiang-burning-nike-shoes-2021-3> (дата обращения: 22.03.2024).

или высказывания, которые, по мнению сообщества, свидетельствуют о неприемлемых качествах человека (или позиции бренда, компании) и, следовательно, невозможности его нахождения в сообществе (контактов с брендом, организацией и т.д.).

Несмотря на конкретные поводы для исключения, канселлинг выступает следствием не столько поступка, высказывания, действия, сколько выражается в дискурсе разочарования сообщества в личных качествах человека, то есть в несоответствии того, кем отменяемый, по мнению сообщества, является, ценностям сообщества. Через практики исключения новым безумцам показывают их неправоту. Именно поэтому привычные действия, сопровождающие процесс исключения (например, публичные извинения, раскаяние), не достигают цели. Слово безумца должно иметь иной статус. Причем безумец – это не тот, кто безумен в соответствии с какими-то объективно существующими критериями; в современных условиях не соответствующими норме считаются слова человека, которого сообщество объявляет таковым. Как и в практиках исключения Нового времени, самой констатации отмены недостаточно; необходимо, чтобы отмененный понял, что «его бред не имеет никакого отношения к действительности» (Фуко 2008а: 68). И здесь можно заметить еще одно сходство прежних практик исключения и «культуры отмены». Если христианская культура в целом предполагала возможность покаяния (Мария Магдалина оценивается не как проститутка, а апостол Павел – не как сборщик податей и гонитель христиан), то в «культуре отмены» люди (бренды) обречены быть осужденным за свое (зачастую не только свое) прошлое. В соответствии с описанием М. Фуко, прокаженный не может перестать быть прокаженным, а сумасшедший – выздороветь. Все белые люди – расисты, которые, как бы ни старались, всегда будут такими, даже если никогда не задумывались о своей расе или расе окружающих. Покаяние, практики публичного извинения не приводят к прощению, они только дают шанс стать чуть менее расистом.

Исключенность можно описать через категории господства, проявляющегося в виде или суверенного решения об исключении (К. Шмитт), или суверенного решения о личной и политической жизни (Дж. Агамбен), или выбора элит, заботящихся о проблемах безопасности (теория секьюритизации), то есть как особое поле, созданное, ограниченное и постоянно укрепляемое насильственными практиками включения и исключения. Однако применительно к «культуре отмены» представляется более продуктивным ее рассмотрение как одной из практик контроля дискурса, реализуемой через запрет. Также важно обратить внимание на использование канселлингом дискурса идентичности как ресурса для механизма исключения и признания необходимости ограничения своего дискурса. Поэтому далее будет рассмотрен предлагаемый М. Фуко язык описания, который, на наш взгляд, может стать подходящей исследовательской оптикой для осмысления практик «культуры отмены».

**Дисциплина и исключение:
контроль над дискурсом в работах М. Фуко**

С точки зрения М. Фуко, исключенность связана с восприятием прокаженных и отношением к ним, причем значение имел не столько страх заразиться сам по себе, сколько необходимость какого-либо Другого, при помощи образа которого конструируются границы нормы. Когда лепрозории опустели, место прокаженных (само слово сохранилось в повседневной и художественной речи как синоним исключения) стали занимать сумасшедшие: «Конструируется понятие безумия, с помощью которого европейский разум начинает контролировать себя; учреждает в качестве “естественной” нормы понятие пола, определяя границы сексуальности»⁷. Распространение в конце XX – начале XXI в. дискурса инклюзивности, дефиниция сумасшедших как «альтернативно одаренных», «людей с особенностями» и так далее приводят к тому, что безумец уже не является тем чужим, чуждым, каким он был раньше, а его поведение, высказывания, практики становятся частью нормы. Парадоксально, но теперь исключению подвергаются люди, которые продолжают настаивать на логике исключения: стигма, с которой были связаны прокаженные, потом сумасшедшие, затем представители других рас и гомосексуалы, теперь относится к людям, действия которых могут свидетельствовать о том, что они не разделяют представления о новой норме, включающей в себя тех, кто ранее находился за ее пределами.

Норма оказывается принципом принуждения. Если суверен в традиционном обществе имел право лишить подданого жизни, то власть Нового времени проявляется в администрировании тел. Поэтому М. Фуко говорит о такой власти как дисциплинарной. В разные эпохи процедура исключения работала по-разному, но схожим образом. Два ее основных принципа противопоставлены: с одной стороны, принцип изоляции и наказания, с другой – принцип социальной адаптации под надзором. Оба представляют собой осуществление дисциплинарной власти. Даже индивид сам по себе не является самобытной и самостоятельной сущностью, а оказывается следствием работы дисциплинарной власти, конструкцией. То, что индивид считает самоконтролем (Taylor 2011), представляет собой практики дисциплинарной власти, которые уже были интернализированы человеком и воспринимаются некритично как часть его самого, соответственно, не нуждаются во внешнем управлении. При этом власть не связана с каким-либо конкретным сувереном, бессубъектна и встраивается в различные типы отношений. Продуктом такой власти оказывается знание, которое проистекает из нее, то есть М. Фуко обосновывает, что знание производится не конкретным субъектом, а совокупностью процессов, связанных с отношением власти-знания (Фуко 1999: 285-286). Не «знание – сила», как считал Ф. Бэкон, а знание, выступающее следствием дисциплинарной власти, существующей через опосредованную сеть агентов. Эта инверсия происходит потому, что

⁷ Подорога В.А. Словарь аналитической антропологии // Lib.Ru. Библиотека Максима Мошкова. URL: https://lib.ru/FILOSOF/PODOROGA_W/s_antropo.txt (дата обращения: 22.03.2024).

власть устанавливает режимы истины, которые позволяют производить знания. Полученное таким образом знание, в свою очередь, увековечивает и расширяет власть, которая затем порождает еще больше знаний.

Дисциплинарная власть направлена на распределение тел в пространстве – именно так функционируют рабочие дома, колледжи, тюрьмы, казармы, мануфактуры и т.д. Индивиды располагаются иерархично, в соответствии со своим рангом, заслугами, преступлениями, то есть подобного рода иерархия выступает способом классификации. М. Фуко описывает три основных механизма, за счет которых действует дисциплинарная власть: иерархическое наблюдение, нормализующее суждение и экзамен. Благодаря первому тела постоянно находятся под контролем власти. В качестве примера французский мыслитель приводит психиатрические больницы, причем важным он считает то, что существует не один наблюдатель, а их иерархия. Эти наблюдения конструируют определенную норму, которая в дальнейшем становится основой для оценок. Затем она транслируется как единственно правильный вариант, отклонения от которого наказываются. М. Фуко обращает внимание, прежде всего, на то, как норма касается тела и телесных практик, однако, если шире, то норма представляет собой определенный стандарт поведения, который позволяет оценивать любые действия индивида как «нормальные» или «ненормальные», то есть устанавливает фигуру «нормального» в качестве принципа принуждения для фигуры «ненормального» (Фуко 1999: 292). Экзамены объективируют наблюдаемое и выступают в качестве источника новой информации, а также дают представление о том, как настоящая ситуация (или направление развития) связывается с нормой. Как утверждает философ, «в центре дисциплинарных процедур экзамен демонстрирует подчинение тех, кто воспринимается как объекты, и объективацию тех, кто подчиняется» (Фуко 1999: 270); «в этом пространстве господства дисциплинарная власть по существу проявляет свою мощь, главным образом посредством упорядочения объектов. Экзамен – своеобразная церемония объективации» (Фуко 1999: 274). В связи с этим он упоминает первый военный смотр Людовика XIV как форму экзамена, дающую объективизацию предметов. На этом смотре 18 тыс. солдат были подвергнуты пристальному взгляду едва видимого монарха, который командовал их учениями (Фуко 1999: 275). Другой вариант объективизации связан с административной фиксацией, которая оставляет после себя плотный слой документов, как в примерах медицинских записей и записей учащихся. Наконец, накопление документов в ходе экспертизы формирует личность как случай, определенный в терминах статуса, связанного со всеми «измерениями», «пробелами» и «отметками», характерными для дисциплинарной власти (Фуко 1999: 278).

Применение дисциплинарной власти М. Фуко, опираясь на работу Дж. Бенета 1791 г., иллюстрирует через образ Паноптикона как идеальной тюрьмы (Фуко 1999: 293). Кольцеобразное здание с башней в центре и большими окнами, выходящими внутрь кольца, позволяет постоянно наблюдать за поведением заключенных, а изолированные камеры не дают возможности для объединения. И уже не имеет значения, осуществляется ли

наблюдение в настоящий момент, важна уверенность заключенных, что каждый их шаг и действия видны надзирателям. Интересно, что функционирование Паноптикона не предполагает применения насилия. Само его устройство, вызывая у заключенных ситуацию постоянной видимости, заставляет их выступать проводниками власти: «Паноптикон... следует понимать как обобщаемую модель функционирования; как способ определения отношений власти в терминах повседневной жизни людей» (Фуко 1999: 298).

М. Фуко, говоря о дисциплинарной власти, обращает внимание, прежде всего, на то, как она проявляется в теле (Hoffman 2011). Однако можно провести определенные параллели между тем, что он называет дисциплинарной властью, и структурным насилием в терминологии Й. Галтунга (Galtung 1969). Структурное насилие связано с самим устройством социальных институтов, мешающим реализации потребностей индивидов. Одной из базовых потребностей человека (наряду с выживанием, благополучием, свободой) является идентичность. Невозможность ее реализации происходит через отчуждение индивида от группы. Как и в случае с дисциплинарной властью, объект, на который направлено структурное насилие, подчеркивает Й. Галтунг, не чувствует давления на себя. Его проводником становятся медиа, конструирующие идею нормы как принцип принуждения. Например, сегодня через Сеть и различные медиаканалы индивид испытывает влияние экономических, политических, культурных акторов, заставляющих соблюдать определенные правила. Если дисциплинарная власть распределяет тела в пространстве, то социальные сети кодируют пространство через локализацию пользователей, выстраивают их иерархию. Й. Галтунг отмечает, что, если информация используется какой-либо группой не по назначению, это говорит о наличии структурного насилия. Социальные сети уже давно перестали быть только площадкой для общения пользователей, превратились в ресурс получения данных для рекламы, слежки, пропаганды⁸. Интерактивность современных медиа, которую одни теоретики интерпретируют как возможность для свободного творчества и отказ от власти экспертов (Barry 2006), с точки зрения других, сама по себе носит дисциплинарный характер, создавая иллюзию свободы и возможности самовыражения, воспроизводя необходимую капиталистической индустрии субъективность (Jarrett 2008).

Многие исследователи пишут о том, что социальные сети способны собирать такой объем информации о пользователях, что влияют не только на их выбор предметов повседневного обихода, но и политические решения, вплоть до голосования за президента. Современные социальные медиа – это не только источники информации, но и проводники дисциплинарной власти. Они порождает разобщенность в обществе (Морозов 2014), авторитарная власть научилась использовать их для цензуры и пропаганды (Morozov 2011). Сегодня любой индивид более подконтролен, чем

⁸ The Power of Big Data and Psychographics (Cambridge Analytica) // Internet Archive. 22.04.2018. URL: <https://archive.org/details/CambridgeAnalyticaThePowerOfBigDataAndPsychographics> (дата обращения: 22.03.2024).

в Паноптиконе, благодаря видеокамерам и другим устройствам «умного города», цифровым следам и т.д. Дело не только в том, что в социальных сетях пользователи высказывают какие-либо суждения и делятся оценками, но и в том, что эти мнения и оценки оказываются основанием для действий офлайн: учительницу увольняют за неподобающий, с точки зрения учеников и их родителей, внешний вид на фотографии, которой она поделилась на своей личной странице; бизнес терпит убытки из-за вызвавшей негативные оценки пользователей рекламы; топ-менеджера понижают в должности после его комментариев и т.д.

Таким образом, дисциплинарная власть через практики контроля и надзора распределяет тела в пространстве, классифицирует их, задавая и транслируя норму как определенный стандарт поведения. Социальные сети и медиаканалы действуют подобным образом, локализуя пользователей и создавая их иерархию, выступая проводником дисциплинарной власти. Не касаясь важного для М. Фуко различия между суверенной и дисциплинарной властью (Allen 1999: 31-37), отметим, что «культура отмены» представляет собой именно практику власти над дискурсом.

«Острый конец палки Паноптикона»

Проблема исключенности, выступая следствием дисциплинарной власти, последовательно сводится, если использовать терминологию М. Фуко, к «единой системе различий» и «абсолютным осям отсчета»: дихотомии «друг – враг», норме и ненормальности, политике и безопасности. Каждый подход остается в меньшей или большей степени дуалистическим, проводя четкие границы, которые разграничивают единства, идентичности, категории. Таким же образом действует исключенность в «культуре отмены» – через определение «своих» и «чужих», оценки суждений и действий как соответствующих принятой в конкретном сообществе норме, переосмысление границ личного и публичного, дискурса безопасности как ресурса.

Повторяя одну из самых популярных метафор М. Фуко, критики «культуры отмены» называют ее «острым концом палки Паноптикона», изображая активистов канселлинга в качестве бродячих банд борцов за социальную справедливость, прочесывающих Интернет в поисках любого намека на оскорбительные мнения, поведение или контент (Jeftovic 2020). Необязательно ставить камеры там, где отечественные звезды проводят свой досуг, они сами поделятся фотографиями. Даже больше – если описанный М. Фуко Паноптикон позволял наблюдать за телами, то, например, через *Twitter* можно узнать мысли и отреагировать на них соответствующим образом. Причем Сеть, в отличие от Паноптикона, видит не только то, чем занимаются поднадзорные сейчас, но и помнит действия, поступки, совершенные десятилетия назад, предоставляя сообществу причины для отмены за отклонение от принятой сейчас нормы⁹. Проводником дисциплинарной

⁹ Flynn K. Teen Vogue's New Editor Out of a Job after Backlash Over Old Tweets // Cable News Network (CNN). 20.03.2021. URL: <https://edition.cnn.com/2021/03/18/media/alexi-mccammond-teen-vogue-out/index.html> (дата обращения: 22.03.2024).

власти выступают медиа и современные технологии, обеспечивающие видимость индивида. Многочисленные пользователи, фолловеры, авторы контента и те, кто его распространяет и делится реакциями, создают новую иерархию наблюдателей, конструирующих и транслирующих необходимую норму, которая теперь касается не столько тела, сколько этических оценок и правильного (нормального) поведения. Вместо административной фиксации или другого варианта объективизации статуса тела, социальные сети предлагают присоединиться к хештегам или поделиться реакциями.

Обратим внимание еще на один аспект. Неважно, увидят ли действительно фотографии с вечеринки (хотя чем публичнее человек, тем больше он под контролем, следовательно, выше его шансы быть отмененным), важно, что само существование канселлинга, распространение случаев его применения начинают обладать принудительной релевантностью, задавая рамки должного. Нельзя ставить под сомнение наличие менструирующих персон, не являющихся женщинами, гибель афроамериканцев от рук белых или, если сообщество наблюдателей меняется, то, что полуобнаженный вид на частной вечеринке является оскорблением. Иными словами, не только кейсы канселлинга имеют значение. Как и дисциплинарная власть вообще, «культура отмены» создает, конструирует индивида и его идентичность, вне зависимости от того, применяется она в данный момент к конкретному человеку или нет. Невозможность совершения определенных действий и поступков из-за ожидания реакции и боязни отмены влияет не только на проявления, но и на идентичность саму по себе. Дисциплина создает субъекта, который является самоконтролирующим, развивающимся объектом на пересечении многочисленных векторов управления и принуждения.

Итак, несмотря на то, что социальные сети не являются институтами, они могут действовать как институты принуждения и дисциплины. Однако важной представляется также способность новых медиа выступать катализатором активности других институтов. Реакции на какое-либо высказывание, фотографии, действия человека не ограничиваются социальными сетями, а могут привести к исключенности в офлайне – отменам концертов, разрыву контрактов, увольнению и т.д.

Современные культурные войны связаны с контролем над повествованием (Jeftovic 2020). Один из популярных аргументов отменяющих, как и в случае с исключением прокаженных и сумасшедших, связан с безопасностью; ощущение «небезопасности» можно назвать рефреном нового маккартизма (Dershowitz 2020). Сообщество стремится обезопасить себя от прокаженных, сумасшедших, трансфобов или пропагандирующих нетрадиционные ценности, причем это стремление не ограничивается отменой подписки на соответствующие аккаунты, а непосредственно влияет на жизнь тех, кто, по мнению сообщества, представляет опасность. Но проблема в том, что дискурс безопасности обычно противоречит дискурсу свободы. В дискуссии о балансе между ними свобода является предметом борьбы тех, кто защищал бы ее от государства, и тех, кто защищал бы ее от «террора».

Можно предложить классическую ницшеанскую генеалогию свободы как доминирующего «изобретения правящих классов», однако это не помогает понять, как свобода стала играть поливалентную и двусмысленную роль в дискурсе исключенности, противоречиво отстаивая, с одной стороны, индивидуальную свободу, с другой – нелиберальные методы обеспечения безопасности во имя «свободы». В качестве аргумента в дискуссиях используют предостережение О. Холмса о том, что свобода слова не распространяется на ложные крики о пожаре в переполненном театре (Healy 2013; Larson 2015). Однако дело, в котором О. Холмс использовал эту аналогию, утвердило приговор противнику Первой мировой войны за раздачу политических листовок и попытки, в основном безуспешные, убедить молодых людей воспользоваться своим законным правом на отказ от военной службы по соображениям совести. Сообщение «Пожар!» обращено не к разуму или совести слушателя, а скорее к его адреналину и ногам. Это стимул к немедленному действию, но не к вдумчивому размышлению.

Как и в случае пожара, «культура отмены» предназначена для того, чтобы побудить к действию без обдумывания и рефлексии. И с позиции тех, кто заявляет о нарушении прав угнетенных или распространении нетрадиционных ценностей, их действия, защищающие безопасность членов сообщества, сопоставимы с предупреждениями о пожаре. Однако человек, который кричит «Пожар!» в переполненном театре, не отправляет политического послания, не говорит об этике и не приглашает своего слушателя подумать о том, что он сказал, и решить, что делать рациональным, просчитанным образом. Вряд ли можно отрицать разницу между безопасностью людей, которые могут пострадать при пожаре, и тех, кого беспокоят трансфобы. Иными словами, «культура отмены», распространившаяся ради повышения инклюзивности, то есть свободы самовыражения представителей угнетенных прежде групп, теперь выступает в качестве ограничения свободы через контроль.

Исследователи приводят в качестве примера практики исключения, характерные для Вселенских соборов, называя это аналогом «культуры отмены» (Jeftovic 2020). Канселлинг представляет собой современный вариант контроля над дискурсом через исключение. Так, истиной является то, что не все «менструирующие люди» являются женщинами (например, кейс с отменой Дж. Роулинг) или что любой белый человек – расист; несогласные с этими утверждениями подвергаются исключению из сообщества. Истина, таким образом, определяется не через соответствие реальности, а в качестве силы, присущей принципам и требующей осуществления в речи. «Культура отмены» не включает в себя ни стандартов, ни процессов для определения того, является утверждение об отмене истинным или ложным. Обвинение само по себе становится историей и тем самым оказывается частью исторических записей, даже если оно явно ложно. Независимо от доказательств или их отсутствия, значительный процент читателей и зрителей поверит любому обвинению, особенно в адрес противоречивой личности, с чьими взглядами по другим вопросам они могут не соглашаться.

Выводы

Социолог Дж. Го согласен с тем, что осмысление различного опыта исключенных прежде групп может повысить нашу объективность в оценке общества. Но инклюзивность должна быть не формальной (не постоянное расширение списка угнетенных), а включать этот опыт в универсальную теорию общества (Go 2013; Go 2017). В настоящее время «культура отмены» не претендует на теоретическую рамку, она скорее представляет собой случай «моральной ясности» (Bennett 2002), то есть прекращение попыток увидеть все стороны истории и отказ даже от стремления к объективности (каким бы недостижимым ни был этот идеал). Однако критика канселлинга, тем более без соответствующей теоретико-методологической рамки, представляет собой обратную сторону того же явления.

Опора на категории исключенности и дисциплинарной власти М. Фуко позволила сделать ряд выводов.

1. Идентификация понимается как следствие дискурсивных стратегий и практик контроля над ними. «Культура отмены» как одна из таких практик через инверсию инклюзивности в исключенность выступает как часть процессов идентификации.

2. Дисциплинарная власть проявляется не только на заводах, в больницах, тюрьмах, но может действовать и через различные медиа, в первую очередь социальные сети, конструирующие идею нормы как принцип принуждения и повышающие степень подконтрольности.

3. «Культура отмены», констатируя приоритет этического над инструментальным использованием прошлого, конструирует формы идентичности через принудительную релевантность, то есть само ее существование задает рамки поведения, поступков, высказываний.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Бергер П., Лукман Т. 1995. Социальное конструирование реальности. Москва : Медиум. 323 с.

Лавабр М.К. 1995. Память и политика: о социологии коллективной памяти // Психианализ и науки о человеке / под ред. Н.С. Автономовой, В.С. Степина. Москва : Прогресс-Культура. С. 233-244.

Моран М. 2021. Идентичность и политика идентичности: культурно-материалистическая история // Неприкосновенный запас. № 1. С. 15-39.

Морозов Е. 2014. Техноненависть: как интернет отучил нас думать. Москва : Common place. 112 с.

Рорти Р. 1996. Случайность, ирония и солидарность. Москва : Русское феноменологическое общество. 282 с.

Сыров В.Н. 2023. Семейная память и историческая идентичность: можно ли считать их хорошими путями для определения идентичности // Tempus et Memoria. Т. 4, № 1. С. 6-14. DOI 10.15826/tetm.2023.1.040

Фуко М. 1999. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. Москва : Ad Marginem. 478 с.

Фуко М. 2008а. О начале герменевтики себя // Логос. № 2. С. 65-95.

- Фуко М. 2008b. Дискурс и истина // Логос. № 2. С. 159-262.
- Фуко М. 2010. История безумия в классическую эпоху. Москва : АСТ. 698 с.
- Allen A. 1999. *The Power of Feminist Theory: Domination, Resistance, Solidarity*. Amsterdam : SWP Publishers. 150 p.
- Barry A. 2006. *On Interactivity // The New Media Theory Reader / ed. by R. Hassan, J. Thomas*. London ; New York : Open University Press. P. 163-187.
- Bennett W.J. 2002. *Why We Fight: Moral Clarity and the War on Terrorism*. New York : Doubleday. 176 p.
- David L. 2014. *Impression Management of a Contested Past: Serbia's Evolving National Calendar // Memory Studies*. Vol. 7, iss. 4. P. 472-483. DOI 10.1177/1750698014537670
- Dershowitz A. 2020. *Cancel Culture: The Latest Attack on Free Speech and Due Process*. New York : Hot Books. 168 p.
- Donnelly K. 2021. *Cancel Culture and the Left's Long March*. Melbourne : Wilkinson Publishing. 187 p.
- Galtung J. 1969. *Violence, Peace, and Peace Research // Journal of Peace Research*. Vol. 6, iss. 3. P. 167-191.
- Go J. 2013. *For a Postcolonial Sociology // Theory and Society*. Vol. 42. P. 25-55. DOI 10.1007/s11186-012-9184-6
- Go J. 2017. *Decolonizing Sociology: Epistemic Inequality and Sociological Thought // Social Problems*. Vol. 64, iss. 2. P. 194-199. DOI 10.1093/socpro/spx002
- Goffman E. 1968. *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. London : Pelican. 147 p.
- Healy T. 2013. *The Great Dissent: How Oliver Wendell Holmes Changed His Mind – and Changed the History of Free Speech in America*. New York : Metropolitan Books. 322 p.
- Hoffman M. 2011. *Disciplinary Power // Michel Foucault: Key Concepts / ed. by D. Taylor*. Durham : Acumen. P. 27-39.
- Jarrett K. 2008. *Interactivity is Evil! A Critical Investigation of Web 2.0 // First Monday*. Vol. 13, iss. 3. DOI 10.5210/fm.v13i3.2140
- Jeftovic M. 2020. *Unassailable Protect Yourself from Deplatform Attacks, Cancel Culture & Other Online Disasters*. Amazon Digital Services LLC – KDP Print US. 212 p.
- Kovalik D. 2021. *Cancel this Book: The Progressive Case against Cancel Culture*. New York : Hot Books. 216 p.
- Larson C. 2015. "Shouting Fire in a Theater": *The Life and Times of Constitutional Law's Most Enduring Analogy // William & Mary Bill of Rights Journal*. Vol. 24. P. 181-212.
- Leone G., Curigliano G. 2009. *Coping with Collective Responsibilities: An Explorative Study on Italian Historical Identity Through Three Generations // Journal of Language and Politics*. Vol. 8, iss. 2. P. 305-326. DOI 10.1075/jlp.8.2.07leo
- Lukianoff G., Haidt J. 2018. *The Coddling of the American Mind: How Good Intentions and Bad Ideas Are Setting Up a Generation for Failure*. New York : Penguin Press. 352 p.
- Morozov E. 2011. *The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom*. New York : PublicAffairs. 409 p.
- Ng E. 2022. *Cancel Culture. A Critical Analysis*. Cham : Palgrave Macmillan. 153 p.
- Osiel M. 1997. *Mass Atrocity, Collective Memory and the Law*. New Brunswick : Transaction Publishers. 317 p.
- Sherlock T. 2020. *Evaluating the Legitimacy of the American Foundation Myth // Tempus et Memoria*. Vol. 1, iss. 1–2. P. 76-81.
- Taylor D. 2011. *Introduction: Power, Freedom and Subjectivity // Michel Foucault: Key Concepts / ed. by D. Taylor*. Durham : Acumen. P. 1-9.

References

- Allen A. *The Power of Feminist Theory: Domination, Resistance, Solidarity*, Amsterdam, SWP Publishers, 1999, 150 p.
- Barry A. On Interactivity, *Hassan R., Thomas J. (eds.) The New Media Theory Reader*, London & New York, Open University Press, 2006, pp. 163-187.
- Bennett W.J. *Why We Fight: Moral Clarity and the War on Terrorism*, New York, Doubleday, 2002, 176 p.
- Berger P., Luckmann T. *The Social Construction of Reality*, Moscow, Medium, 1995, 323 p. (In Russ.).
- David L. Impression Management of a Contested Past: Serbia's Evolving National Calendar, *Memory Studies*, 2014, vol. 7, no. 4, pp. 472-483. DOI 10.1177/1750698014537670
- Dershowitz A. *Cancel Culture: The Latest Attack on Free Speech and Due Process*, New York, Hot Books, 2020, 168 p.
- Donnelly K. *Cancel Culture and the Left's Long March*, Melbourne, Wilkinson Publishing, 2021, 187 p.
- Foucault M. About the Beginning of the Hermeneutics of the Self, *Logos*, 2008, no. 2, pp. 65-95. (In Russ.).
- Foucault M. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, Moscow, Ad Marginem, 1999, 478 p. (In Russ.).
- Foucault M. Discourse and Truth, *Logos*, 2008, no. 2, pp. 159-262. (In Russ.).
- Foucault M. *History of Madness in the Classical Era*, Moscow, ACT, 2010, 698 p. (In Russ.).
- Galtung J. Violence, Peace, and Peace Research, *Journal of Peace Research*, 1969, vol. 6, no. 3, pp. 167-191.
- Go J. Decolonizing Sociology: Epistemic Inequality and Sociological Thought, *Social Problems*, 2017, vol. 64, no. 2, pp. 194-199. DOI 10.1093/socpro/spx002
- Go J. For a Postcolonial Sociology, *Theory and Society*, 2013, vol. 42, pp. 25-55. DOI 10.1007/s11186-012-9184-6
- Goffman E. *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*, London, Pelican, 1968, 147 p.
- Healy T. *The Great Dissent: How Oliver Wendell Holmes Changed His Mind – and Changed the History of Free Speech in America*, New York, Metropolitan Books, 2013, 322 p.
- Hoffman M. Disciplinary Power, *Taylor D. (ed.) Michel Foucault: Key Concepts*, Durham, Acumen, 2011, pp. 27-39.
- Jarrett K. Interactivity is Evil! A Critical Investigation of Web 2.0, *First Monday*, 2008, vol. 13, no. 3. DOI 10.5210/fm.v13i3.2140
- Jeftovic M. *Unassailable Protect Yourself from Deplatform Attacks, Cancel Culture & Other Online Disasters*, Amazon Digital Services LLC – KDP Print US, 2020, 212 p.
- Kovalik D. *Cancel this Book: The Progressive Case against Cancel Culture*, New York, Hot Books, 2021, 216 p.
- Larson C. "Shouting Fire in a Theater": The Life and Times of Constitutional Law's Most Enduring Analogy, *William & Mary Bill of Rights Journal*, 2015, vol. 24, pp. 181-212.
- Lavabr M.K. Memory and Politics: On the Sociology of Collective Memory, *Autonomova N.S., Stepin V.S. (eds.) Psychoanalysis and Human Sciences*, Moscow, Progress-Kul'tura, 1995, pp. 233-244. (In Russ.).
- Leone G., Curigliano G. Coping with Collective Responsibilities: An Explorative Study on Italian Historical Identity Through Three Generations, *Journal of Language and Politics*, 2009, vol. 8, no. 2, pp. 305-326. DOI 10.1075/jlp.8.2.07leo

Lukianoff G., Haidt J. *The Coddling of the American Mind: How Good Intentions and Bad Ideas Are Setting Up a Generation for Failure*, New York, Penguin Press, 2018, 352 p.

Moran M. Identity and Identity Politics: A Cultural-Materialist History, *Neprikosnovennyj Zapas*, 2021, no. 1, pp. 15-39. (In Russ.).

Morozov E. *Techno-Hatred: How the Internet Weaned Us from Thinking*, Moscow, Common place, 2014, 112 p. (In Russ.).

Morozov E. *The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom*, New York, PublicAffairs, 2011, 409 p.

Ng E. *Cancel Culture. A Critical Analysis*, Cham, Palgrave Macmillan, 2022, 153 p.

Osiel M. *Mass Atrocity, Collective Memory and the Law*, New Brunswick, Transaction Publishers, 1997, 317 p.

Rorty R. *Contingency, Irony and Solidarity*, Moscow, Russkoe fenomenologicheskoe obshchestvo, 1996, 282 p. (In Russ.).

Sherlock T. Evaluating the Legitimacy of the American Foundation Myth, *Tempus et Memoria*, 2020, vol. 1, no. 1-2, pp. 76-81.

Syrov V.N. Family Memory and Historical Identity: Can They be Considered Good Ways to Define Identity, *Tempus et Memoria*, 2023, vol. 4, no. 1, pp. 6-14. (In Russ.). DOI 10.15826/tetm.2023.1.040

Taylor D. Introduction: Power, Freedom and Subjectivity, *Taylor D. (ed.) Michel Foucault: Key Concepts*, Durham, Acumen, 2011, pp. 1-9.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Оксана Владимировна Головашина

доктор философских наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института философии и права Уральского отделения РАН, г. Екатеринбург, Россия; ведущий научный сотрудник философского факультета Томского государственного университета, г. Томск, Россия;

ORCID: 0000-0002-9911-175X;

ResearcherID: R-3757-2016;

Scopus AuthorID: 56951277600;

SPIN-код: 3493-3930;

E-mail: ovgolovashina@mail.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Oksana V. Golovashina

Doctor of Philosophy, Associate Professor, Leading Researcher, Institute of Philosophy and Law of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, Russia; Leading Researcher, Faculty of Philosophy, Tomsk State University, Tomsk, Russia;

ORCID: 0000-0002-9911-175X;

ResearcherID: R-3757-2016;

Scopus AuthorID: 56951277600;

SPIN-code: 3493-3930;

E-mail: ovgolovashina@mail.ru



Аникин Д.А. Дискурс исторической справедливости: этико-политические основания и концептуальные противоречия // Антиномии. 2024. Т. 24, вып. 3. С. 55-69. https://doi.org/10.17506/26867206_2024_24_3_55

УДК 323

DOI 10.17506/26867206_2024_24_3_55

Дискурс исторической справедливости: этико-политические основания и концептуальные противоречия

Даниил Александрович Аникин

Томский государственный университет

г. Томск, Россия

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

г. Саратов, Россия

E-mail: dandee@list.ru

*Поступила в редакцию 12.08.2024, поступила после рецензирования 05.09.2024,
принята к публикации 10.09.2024*

В статье исследуется использование категории «историческая справедливость» в качестве публичного обоснования политического поведения. Несмотря на частоту употребления в публичном дискурсе, научный статус данного понятия остается под вопросом, так как его формальное определение сталкивается с целым рядом трудностей. Во-первых, неопределенным остается статус основных субъектов справедливости – преступников и жертв, поскольку оценка их деятельности в исторической перспективе могла неоднократно меняться. Во-вторых, существенной является так называемая проблема нетождественности, не позволяющая в полной мере установить идентичность жертв исторической несправедливости и современного сообщества, претендующего на преемственность по отношению к жертвам. Основанием для активного использования апелляций к исторической справедливости стала доктрина «морального памятования», которая возникла по итогам Второй мировой войны и включала в себя три базовых принципа: обязанность помнить, обязанность прорабатывать прошлое и обязанность обеспечивать справедливость по отношению к жертвам. По мере изменения состава и количества ведущих политических акторов произошло резкое увеличение мемориальных нарративов, а автоматический перенос на них требования исторической справедливости привел к увеличению количества мемориальных конфликтов. В условиях современного публичного пространства дискурс исторической справедливости становится важным инструментом символической борьбы, подменяющим моральное измерение отношения к прошлому политическими манипуляциями. В этой связи представляется необходимым разграничение исторической справедливости как политического инструмента



© Аникин Д.А., 2024

и как категории исторической этики, позволяющей определять и оценивать соотношение между историческими фактами и современными нарративами.

Ключевые слова: историческая справедливость, моральное памятование, дискурс, коллективная память, этика, преступник, жертва, канселлинг

Благодарности: Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-18-00465, <https://rscf.ru/project/23-18-00465/>

Discourse of Historical Justice: Ethical-Political Foundations and Conceptual Contradictions

Daniil A. Anikin

Tomsk State University

Tomsk, Russia

Saratov State University

Saratov, Russia

E-mail: dandee@list.ru

Received 12.08.2024, revised 05.09.2024, accepted 10.09.2024

Abstract. The article examines the use of the “historical justice” category as a public justification for political actions. Despite its frequent use in public discourse, the scientific legitimacy of the concept remains questionable, as its formal definition encounters a range of challenges. Firstly, the status of the main subjects of justice – perpetrators and victims – remains uncertain, since the assessment of their activities in the historical perspective may change over time. Secondly, the so-called non-identity problem is essential, as it complicates establishing the continuity between the victims of historical injustice and the modern communities claiming to represent them. The active use of appeals to historical justice rooted in the doctrine of “moral remembrance”, which arose as a result of World War II and consists of three main principles: the duty to remember, the duty to face the past, and the duty to ensure justice for victims. As the composition and number of leading political actors changed, there was a sharp increase in memorial narratives, and the automatic extension of demands for historical justice to these narratives resulted in an increase in memorial conflicts. In modern public space, the discourse of historical justice has become a crucial tool of symbolic struggle, often replacing moral attitudes towards the past with political manipulation. In this regard, it seems necessary to distinguish between historical justice as a political tool and as a category of historical ethics that allows determining and assessment of the relationship between historical facts and modern narratives.

Keywords: historical justice, moral remembrance, discourse, collective memory, ethics, perpetrator, victim, cancelling

Acknowledgments: The research was carried out with the support of the Russian Science Foundation grant No. 23-18-00465, <https://rscf.ru/en/project/23-18-00465/>

For citation: Anikin D.A. Discourse of Historical Justice: Ethical-Political Foundations and Conceptual Contradictions, *Antinomies*, 2024, vol. 24, iss. 3, pp. 55-69. (In Russ.). https://doi.org/10.17506/26867206_2024_24_3_55

Историческая справедливость в современном гуманитарном дискурсе

Термин «историческая справедливость» занимает пограничное положение в пространстве гуманитарных наук. По идее, вторая часть словосочетания – справедливость – отсылает к дисциплинарной специфике правовой науки, однако добавление прилагательного «историческая» существенно затрудняет понимание, какой набор явлений может быть обозначен посредством апелляции к исторической справедливости. Вместе с тем многие современные исследователи указывают, что она предполагает рассмотрение более широкого круга вопросов, связанных с изучением многообразных отношений между прошлым и настоящим, причем не только в нормативном, но и в морально-этическом и социально-философском смысле.

Обращение к тематике справедливости в историческом аспекте отчетливо прослеживается со второй половины XX в., что знаменует потребность в социально-философской и этико-моральной рефлексии по поводу явления, которое становится все более значимым как в сугубо политическом дискурсе, так и в качестве риторического свидетельства происходящих в структуре символического пространства изменений. Как отмечает В.С. Мартьянов, сама апелляция к справедливости является симптомом возникновения секулярного публичного пространства, в котором «естественный порядок вещей» лишается статуса самодостаточного основания для оценки поведения индивидов, что, в свою очередь, вызывает к жизни потребность в поиске социального консенсуса по поводу распределения прав и ресурсов (Мартьянов 2006: 66). Из этого проистекает не только категориальное, но и онтологическое различие между понятиями «правда» и «справедливость», что имеет существенное значение для использования данных терминов в публичной риторике по поводу отношения к прошлому.

П. Рикер делает тонкое замечание, что само существование исторической справедливости свидетельствует о принципиальном отказе от такого фундаментального принципа уголовного права, как срок давности. «С общественной точки зрения полезно положить конец процессам, поводом для которых стали бы приобретение вещей, взыскание долга и публичные действия, направленные против нарушителей социальных установлений. Срок давности в случае приобретения упрочивает право собственности; срок давности, освобождающий от обязательства, препятствует бесконечному влезанию в долги; срок давности уголовно наказуемого общественного действия подкрепляет итоговый, “окончательный”, характер уголовных приговоров в целом, призванных положить конец состоянию юридической неопределенности, дающей возможность для судебного процесса» (Рикер 2004: 652).

Апелляция к восстановлению исторической справедливости предполагает, что само преступление, нарушившее справедливые отношения между субъектами, могло иметь место даже в отдаленном прошлом, но необходимость преодоления последствий оказывается сильнее, нежели стремление к оставлению данного события в прошлом.

С другой стороны, не менее существенным оказывается тот факт, что само понятие срока давности не может быть онтологически обосновано,

а представляет собой лишь определенный общественный консенсус относительно временной дистанции, которая должна пролегать между преступлением и отказом от исполнения карательной функции правосудия по отношению к нему, что автоматически означает сознательное забвение. Разумеется, на индивидуальном уровне память об этом преступлении может сохраняться у людей, которые пострадали от него (напрямую или косвенно), но речь в данном случае идет именно о принципе коллективного забвения как алгоритме поддержания стабильности общественного порядка.

Важным социально-политическим контекстом формирования подобного принципа становится отказ от срока давности по отношению к военным преступлениям, ставший, в свою очередь, свидетельством не только политического, но и морального консенсуса в Европе вокруг последствий Второй мировой войны. Этот консенсус, отмечает П. Рикер, складывается только в 1960-е гг., но ему предшествует определенное различие вины и ответственности, к которому обращается во второй половине 40-х гг. К. Ясперс в своей работе о немецкой вине¹. Вина присуща отдельному индивиду, совершившему преступное деяние (не важно, выступает ли в качестве такого деяния действие или отданный приказ), но ответственность представляет собой гораздо более широкое понятие, предписывающее необходимость определенного урегулирования последствий преступления даже для тех индивидов, кто лично к нему не причастен. Как подчеркивает французский мыслитель, «не имеющими срока давности объявляются преступления, но наказания несут индивиды» (Рикер 2004: 655).

В этом качестве вопрос восстановления исторической справедливости распадается на правовую и моральную стороны. С точки зрения права вопрос о справедливости уместен только по отношению к тем преступникам, виновность которых установлена, а сами они в состоянии понести юридическую ответственность. В этом смысле естественный предел исторической справедливости заключается в сроке жизни конкретных виновников преступлений, после чего вопрос о привлечении к ответственности становится бессмысленным, переходя из сугубо правового измерения в политическое.

Моральный аспект сложнее, поскольку предполагает более абстрактное представление о степени вины и необходимости искупления, хотя эта абстрактность опирается на определенные презумпции, порожденные уже имеющейся политической практикой определения виновников и необходимости ответственности. В этом смысле моральная трактовка исторической справедливости также не свободна от определенной политической и культурной ангажированности, если, конечно, мы понимаем под моралью не определенный набор этических категорий, а неотрефлексированные представления о правильном/неправильном, свойственные общественному сознанию. С этой точки зрения представление об исторической справедливости приобретает расширительную трактовку, распространяясь далеко за пределы не только жизни непосредственных виновников преступлений, но и существования сообществ, которые являлись жертвами.

¹ Более подробно см.: (Jaspers 1946).

Более прикладной уровень анализа исторической справедливости предложил П. Нора, обратившийся к этой проблеме при изучении системы государственных и общественных юбилеев, также подчиненных логике включения и исключения тех исторических событий, которые рассматриваются как несправедливые с точки зрения какого-либо сообщества. Для французского автора историческая справедливость выступает в качестве сопутствующего компонента исторической памяти, сопровождающего усложнение и расслоение тех потоков воспоминаний, которые были при-сущи модернистской Европе. «Мы видим этот процесс в действии, когда, скажем, государство отказывается от чествования битвы при Аустерлице, в котором принимала участие вся Европа, под тем предлогом, что оно прославляет колониальную политику Наполеона. Или когда власти решают не отмечать четырехсотлетие со дня рождения Корнеля, потому что члены его семьи будто бы были связаны с трансатлантической работорговлей» (Нора 2010: 185). В этом смысле историческая справедливость всегда подчиняется логике социальной или политической целесообразности, поскольку справедливость конкретного события устанавливается в контексте того, какие сообщества могут его рассматривать в качестве несправедливого лично для себя. Стоит особо отметить, что для П. Нора апелляция к исторической справедливости может проявляться не только в событии, но и в его отсутствии (отказ от празднования юбилея), что делает эти идеи крайне важными для анализа исторической справедливости именно в контексте трансформаций исторической памяти и коллективной идентичности.

Стремление рассмотреть историческую справедливость как совокупность тех процедур, которые позволяют (по крайней мере, на определенном этапе) урегулировать вопросы несоответствия и даже конфликта различных видов памяти, встречается у ряда современных авторов.

Г. Коккинос выделяет три формы исторической справедливости как юридической процедуры:

1) карательная справедливость (*retributive justice*), устанавливающая ответственность определенных политических акторов или отдельных политических деятелей за события, имевшие место в прошлом (Нюрнбергский процесс, суд над А. Пиночетом);

2) возмещающая/восстановительная справедливость (*reparative/restorative justice*), определяющая возможность компенсации нанесенного вреда и характер (экономический, моральный) подобной компенсации (выплаты узникам концлагерей от властей ФРГ);

3) транзитивная справедливость (*transitional justice*), направленная на символическое примирение сообществ, которые в прошлом являлись участниками конфликтов (Kokkinos 2022).

Р. Хасеби рассматривает историческую справедливость как вторичный элемент бинарной оппозиции «справедливость – несправедливость», поскольку первичным элементом является именно представление о несправедливости как результате ошибок, совершенных в прошлом (Huseby 2023). Соответственно, представление об исторической справедливости возникает из стремления аннигилировать исторический промежуток, расцениваемый

как несправедливый, вернувшись к той системе взаимоотношений, которая соответствует актуальным представлениям о соотношении прав и обязанностей между различными сообществами.

Историческая справедливость возникает из представления об исторической несправедливости, точнее говоря, из констатации того факта, что на протяжении определенного исторического промежутка, который может длиться от нескольких лет до нескольких столетий, соотношение прав и свобод между различными коллективными субъектами не соответствовало современным представлениям. В этом смысле ключевой характеристикой применения термина в современном политическом дискурсе является императивное требование *восстановления исторической справедливости*, то есть воссоздания некоего состояния, имевшего место в прошлом, которое может рассматриваться как своеобразный идеал.

Историческая справедливость, претендующая на возможность и даже необходимость игнорирования временного разрыва между исходным состоянием справедливости и ее последующим восстановлением, представляет собой антиисторическое явление, игнорирующее естественные различия между субъектами правоотношений, а также изменение самого социально-политического контекста, влияющего на формулирование условий и процедур восстановления нарушенных прав и свобод.

Эволюция представлений об исторической справедливости в рамках современного гуманитарного знания позволяет продемонстрировать постепенное смещение акцентов в ее рассмотрении от онтологического к эпистемологическому аспекту. Если для К. Ясперса и обращающегося к нему П. Рикера установление исторической справедливости напрямую связано с возможностью определения вины и необходимостью ее искупления (что предполагает четкое различие вины и ответственности), то для П. Нора и целого ряда современных исследователей (например, Р. Хасеби) вопрос превращается в рассмотрение моральных и политических условий того дискурсивного акта, который предписывает историческую справедливость. Подобная динамика позволяет перейти к важному вопросу о статусе данного термина и тех эпистемических затруднениях, с которыми сталкиваются попытки определения границ его применения.

Историческая справедливость: понятие или метафора?

Повторяющаяся апелляция к исторической справедливости в публичном дискурсе, а также имеющиеся примеры превращения политических терминов в научные понятия (как произошло, например, с понятием «историческая политика») заставляют задаться вопросом, в каком же смысле историческая справедливость может выступать в качестве категории с объективно фиксируемым и непротиворечивым содержанием.

Поскольку между самим правонарушением и восстановлением нарушенного в ходе него баланса прав и свобод субъектов (коллективных или индивидуальных) располагается определенный временной промежуток, в широком смысле слова любую справедливость можно назвать историче-

ской. Но подобная трактовка представляется чрезмерно расширительной, позволяя подвести под нее любое урегулирование последствий правонарушения, вне зависимости от того, когда и по отношению к кому оно совершено. Кроме того, апелляция к восстановлению нарушенной справедливости не сводится к сугубо юридическим процедурам установления вины, а представляет собой более широкий набор требований, предполагающих, прежде всего, изменение статуса тех субъектов, которые могут рассматриваться в качестве жертв несправедливости.

Структура правоотношений предполагает наличие двух категорий субъектов – жертв и преступников, а реализация справедливости в рамках уголовного права обеспечивается за счет их точного определения, притом что в качестве пострадавшей стороны могут выступать не только конкретные индивиды, но и общественные или государственные интересы, нарушенные совершением определенного преступления. Но даже в этом случае существует персонификация жертвы правонарушения в виде уполномоченного субъекта (например, прокурора), на которого возлагаются обязательства по отстаиванию интересов пострадавшей стороны, причем сама возможность отождествления жертвы и ее представителя является конкретной юридической процедурой.

Еще важнее необходимость четкой идентификации преступника, поскольку основанием для наступления юридической ответственности является установление виновности конкретного лица или группы лиц. Перенос вины конкретного лица на других лиц, косвенно связанных с ним, но не имевших четкого умысла или заинтересованности в совершении правонарушения, с точки зрения уголовного права является невозможным.

Однако характеристики, которые позволяют оценивать и обеспечивать реализацию справедливости в рамках системы правоотношений, подвергаются определенным трансформациям в случае, если речь заходит об исторической справедливости. Она носит коллективный характер, поскольку даже если в конкретном случае истцом в уголовном процессе или публичном требовании выступает конкретный индивид, то само его право выдвигать обвинения проистекает из постулируемой принадлежности к тому сообществу, которое может рассматриваться в качестве жертвы преступлений, имевших место в прошлом. Следовательно, такая форма справедливости предполагает установление тождественности между жертвами совершенного правонарушения и тем сообществом, которое берет на себя ответственность говорить от их имени.

В рамках этического и социально-философского знания историческая справедливость рассматривается как пример так называемой проблемы нетождественности (*non-identity problem*), поставленной Д. Парфитом (Parfit 1984). Ее суть заключается в отсутствии четких критериев отождествления современной группы как субъекта правоотношений с теми сообществами прошлого, от имени которых она высказывается. Более того, Д. Хейд обращает внимание на факт (особенно показательный в контексте афроамериканского сообщества), что само возникновение сообщества является продуктом тех действий, которые классифицируются как преступные в современной правовой и моральной системе координат (Heyd 2014: 2-3).

Наиболее дискуссионным вопросом становится процедура определения (или предписывания) идентичности, в ходе которой устанавливаются два ключевых соотношения: 1) между жертвой (жертвами) преступления и субъектом (коллективным или индивидуальным), обращающимся за восстановлением нарушенной справедливости; 2) между преступником (преступниками) и субъектом, которому предписывается виновность и, соответственно, обязательство по компенсации нанесенного ущерба.

Если подобное тождество может быть нормативно закреплено (например, акт о признании юридической преемственности одного государства по отношению к другому), то проблема решается в правовом поле. Но сложность использования категории «историческая справедливость» в современном публичном пространстве заключается в том, что субъектами правоотношений провозглашаются с трудом институализируемые сообщества (например, рабы и рабовладельцы), по отношению к которым едва ли можно установить преемственность. Поэтому на смену проблеме тождественности приходит проблема делегирования, в результате чего формируются публичные акторы, принимающие на себя полномочия не только говорить от имени сообщества жертв, но и определять сообщество, которое будет репрезентировать преступников. Вопрос о действительной вине как самого сообщества, так и его отдельных представителей, подвергаемых остракизму, отходит на задний план, точнее говоря, его разрешение становится результатом не формальных процедур, а степени политического влияния того или иного сообщества.

Таким образом, анализ характеристик исторической справедливости позволяет сделать вывод о том, что ее использование в качестве научного понятия сталкивается с большими затруднениями, проистекающими из невозможности четко определить юридические или моральные условия, позволяющие обеспечить тождественность субъектов правоотношений. Л.Г. Фишман отмечает, что подобную тягу к виктимизации (в том числе по отношению к событиям отдаленного прошлого) можно рассматривать в качестве своеобразного обоснования политической ренты (Фишман 2018: 97). Наглядным примером реализации данного принципа в конкретной политической практике может служить индустрия «музеев оккупации», возникшая в Восточной Европе в 90-е гг. XX в. и ставшая важным символическим обоснованием для смягчения требований к включению стран бывшего социалистического блока в процессы европейской интеграции.

Апелляция к исторической справедливости становится в последнее время удобным риторическим приемом, позволяющим определенному сообществу настаивать на устранении тех элементов представлений о прошлом, которые препятствуют или ставят под сомнение его актуальный статус. В этом смысле историческая справедливость является весомой политической метафорой, легитимирующей претензии определенного сообщества и служащей инструментом борьбы не столько со своими прямыми конкурентами, сколько с другими символическими образами прошлого, занимающими устоявшееся место в пантеоне того или иного сообщества.

Как отмечает С.И. Посохов, метафора «историческая справедливость» активнее работает в пространстве бинарной культуры, поскольку чаще сопряже-

на с консервативными идеями и действиями, направленными на «возврат к старине». В этом случае прошлое идеализируется, противопоставляется настоящему. Сохранение традиций и устоявшихся правил видится как «святая цель» (Посохов 2016: 125-126). Бинарными становятся не только сами метафоры справедливости и несправедливости, но и символизируемые ими исторические эпохи, причем границы эпох и критерии их выделения могут существенно различаться в зависимости от сообществ, использующих подобные метафоры. Из этого проистекает принципиальная невозможность консенсуса относительно исходной точки, которая может рассматриваться как состояние справедливости по отношению ко всем современным сообществам, что особенно актуально для истории национальных государств, постоянно менявших свои границы и контуры подвластных сообществ.

К. Берхам и Б. Акар подчеркивают, что само представление об исторической справедливости, особенно в контексте образовательного дискурса, может существенно различаться, демонстрируя две противоположные стратегии присвоения и использования данной метафоры (Barham, Akar 2022). На примере двух групп палестинских школьников авторы констатируют, что апелляция к исторической справедливости может как концентрировать внимание на сугубо национальной истории, так и строить широкие аналогии с другими угнетенными сообществами. Для первой группы воплощение принципа исторической справедливости в преподавании истории заключается в сосредоточении исключительно на трагической судьбе палестинского народа, что является искуплением той несправедливости, которая связана с долговременным умалчиванием. Для второй группы сама судьба палестинцев становится основанием для проведения определенных параллелей с другими сообществами, также страдавшими, но сумевшими избавиться от угнетения (война во Вьетнаме, апартеид в Южной Африке, борьба Эрнесто Гевары за независимость стран Латинской Америки). В этом смысле историческая справедливость как принцип переосмысления прошлого демонстрирует определенную пластичность, давая возможность если не выйти за пределы дихотомии «преступник – жертва», то, по крайней мере, шире представить содержание данных понятий. Хотя, разумеется, ключевая проблема неопределенности того исторического момента, который может стать консенсусным в качестве точки отсчета для соответствия справедливости и несправедливости, и здесь остается нерешенной.

Однако само использование метафоры исторической справедливости в качестве публичного аргумента, предписывающего ответственность отдельным сообществам или даже государствам, ставит вопрос о социальных и политических процессах, которые способствовали формированию подобного инструментария политического действия.

«Моральное памятование» и формирование инструментария виктимизации

Современные исследования, посвященные исторической справедливости, как правило, рассматривают ее как результат определенных процедур

(юридических, экономических, моральных), позволяющих восстановить утраченное состояние соотношения прав и свобод отдельных категорий граждан, которое представляется справедливым, исходя из современного статуса данных категорий.

Разумеется, обращение к набору этических категорий для обоснования политических целей не является исключительно продуктом современной политической реальности, а представляет собой достаточно стандартный вариант легитимации или делегитимации политического порядка. Ключевой особенностью современного публичного дискурса выступает перенос моральных рамок на предшествующие стадии общественного развития, характеризующиеся принципиально иной нормативностью как в юридическом, так и моральном смысле. Это и создает этические предпосылки для виктимизации одних сообществ и наделения негативными характеристиками тех индивидуальных или коллективных субъектов, которые рассматриваются в качестве виновников совершенных правонарушений. Показательно, что подобный канселлинг в сфере коллективных представлений о прошлом обосновывается не только возможностью отказа от существующих норм, но и готовностью использовать «новую этику» в качестве моральной шкалы для событий, имевших место в прошлом.

Для характеристики данного явления А.И. Миллер использует со ссылкой на Л. Дэвид (David 2020) термин «моральное памятование», призванный отразить связь трансформации моральных категорий, используемых в публичном дискурсе, с процессами изменения политических акторов и формируемых ими траекторий коллективной памяти (Miller 2024: 35). Само возникновение «морального памятования» напрямую связано с последствиями «спора историков», в ходе которого, казалось бы, утвердился единственно возможный критерий оценки прошлого – права человека. «В ходе спора Хабермасу и его сторонникам удалось утвердить *Geschichtspolitik* (историческую политику) в качестве сугубо негативного понятия, что отражало представление о памятовании как о сфере, в которой главную роль должно играть гражданское общество, а политикам не следует в нее вмешиваться. (Вне контекста этого спора Хабермас в своей концепции публичной сферы подчеркивал ее связь с политикой и властными отношениями)» (Miller 2024: 38).

Понятие «права человека» стало «священной коровой» публичного исторического дискурса, поскольку в нем виделся уход от плюралистичности оценок прошлого и, соответственно, возможности ревизионистской трактовки любых диалогических конструкций, возникающих по поводу того или иного исторического события. Но вопрос заключался не только в содержании исторического дискурса, центральным событием которого стал Холокост, но и в системе акторов, участие которых в формировании и поддержании моральной повестки превращалось в определенную презумпцию, не требующую доказательств и подтверждений. Институты гражданского общества получили в свои руки возможность апеллировать к моральной необходимости сохранения тех образов прошлого, которые воспринимались как необходимые для поддержания символического порядка и в пределах одного государства, и в международных отношениях (David 2020).

Морализация отношения к прошлому стала инструментом защиты того образа будущего, который строился в послевоенной Европе на чувстве коллективного признания немецкой вины и который должен был – в рамках идеалистических представлений – стать альтернативой любым способам политизации прошлого. Проблема заключалась в том, что абсолютизация не только ключевого исторического нарратива, но и системы акторов, участвующих в перераспределении символических ресурсов, превратила апелляцию к моральным нормам в обоюдоострый инструмент, угрожающий как раз тем коллективным акторам, которые ратовали за его формирование.

В рамках системы политических координат, которая сложилась по итогам Второй мировой войны, подобная абсолютизация могла иметь место, поскольку учитывала интересы акторов, выступавших гарантами сохранения не только политического, но и символического порядка. Но по мере изменения конфигурации политического пространства и усложнения совокупности международных и внутривнутриполитических акторов, расколы морального консенсуса оказались неминуемы².

На чем же строится «моральное памятование»?

Во-первых, на обязанности сохранения памяти как императиве, заставляющем формировать коммеморации травматических событий прошлого, что выглядит вполне оправданным в абстрактном моральном смысле, но превращается в серьезную проблему на уровне выстраивания конкретных практик, призванных сохранить хрупкую грань между эмоциональной насыщенностью и избыточной сентиментальностью или оскорблением того или иного сообщества.

Во-вторых, на обязанности проработки прошлого с точки зрения современных моральных императивов, что автоматически означает их абсолютизацию, а также вынесение в качестве критериев моральной оценки за пределы хронологических и культурных границ формирования системы взаимоотношений. То, что казалось вполне понятным и допустимым Т. Адорно в ситуации послевоенной Германии, становится весьма проблематичным в условиях плюрализации общественного порядка, когда усиливается противостояние различных мемориальных нарративов.

В-третьих, на требовании справедливости для жертв, что кажется вполне закономерным в ситуации рассмотрения правового прецедента, позволяющей найти определенный баланс между действиями двух сторон с целью определения виновности одной из них. Именно установленная вина позволяет поставить вопрос о конкретной форме возмещения справедливости. Но в условиях не абстрактно-юридической, а исторической реальности обеспечить такой баланс практически невозможно, соответственно, и субъектность жертв всегда может быть поставлена под сомнение.

² Report on Memorization Processes in Post-Conflict and Divided Societies // UN Human Rights Office. 23.01.2014. URL: <https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc2549-report-memorization-processes-post-conflict-and-divided> (дата обращения: 10.08.2024).

Нетрудно заметить, что все три указанных постулата в последние годы сталкиваются с многочисленными конфликтами в ходе их реализации на практике, что позволяет говорить о том, что стадия «морального памятования» в качестве императива мемориального дискурса остается в прошлом. Точнее говоря, современная ситуация множественности публичных исторических дискурсов, апеллирующих к моральной необходимости канселлинга, показывает, что фундаментальная основа «морального памятования» принципиально уязвима.

Кризис «морального памятования» можно зафиксировать как в ценностном, так и в институциональном аспектах. С точки зрения ценностного содержания существенным фактором современных мемориальных конфликтов становится релятивизация Холокоста, точнее, противопоставление данного события колониальному прошлому как символически значимому историческому событию для большей части современных политических акторов (по крайней мере, стран Азии, Африки и Латинской Америки). Это проявляется не только на международном уровне, но и становится фактором усиления конфликтогенности внутри многих государств на уровне символических конфликтов между коренным населением и диаспорами. На институциональном уровне кризис проявляется в дискредитации самой возможности институтов гражданского общества быть объективными судьями не только современных взаимоотношений, но и конфликтов, имевших место в прошлом (Илларионов, Мосиенко 2023: 31-33).

Что это означает для категории «историческая справедливость»? Как ни парадоксально, расширяющаяся сфера использования данного понятия в публичном дискурсе, а также увеличивающееся количество акторов, которые позволяют себе апеллировать к нему для укрепления своего политического статуса и символических претензий, ставят под сомнение само существование исторической справедливости. Точнее говоря, ее статус в качестве эффективного инструмента формирования и отстаивания символических границ собственного сообщества в ситуации принципиальной незащищенности от аналогичных претензий со стороны других сообществ. Своеобразная «девальвация жертвенности» приводит к тому, что требование исторической справедливости все больше утрачивает морально-этический флер, сводясь исключительно к формальной процедуре предъявления публичных претензий.

Заключение

Историческая справедливость представляет собой важный элемент политического дискурса, апеллирующего к переосмыслению исторического прошлого с точки зрения соотношения прав и свобод современных коллективных субъектов. Вместе с тем апелляция к исторической справедливости содержит множество внутренних противоречий, связанных с подвижностью границ между преступниками и жертвами, а также с неустойчивостью коллективной идентичности субъектов правоотношений, что ставит под сомнение возможность ее реализации на практике в строго юридическом смысле.

Актуализация данной метафоры вызвана общей рамкой «морального памятования», которая была сформирована в результате преодоления последствий Второй мировой войны, но привела к излишней абсолютизации как конкретных исторических событий (Холокост), так и системы институтов, обладающих полномочиями на определение исторической справедливости. Кризис данной системы, связанный с увеличением количества акторов и плюрализацией исторических дискурсов, проявляется в том, что историческая справедливость из способа защиты абсолютизированного прошлого превращается в инструмент символических претензий одних сообществ по отношению к другим. Зачастую эти претензии сопровождаются требованием устранения (канселлинга) определенных исторических событий из публичного пространства.

Как справедливо отмечает Л.Г. Фишман по отношению к ресентименту, существенным становится вопрос о судьях, способных оценить корректность использования определенной категории (Фишман 2024: 226), в нашем случае – исторической справедливости. И это вопрос не о конкретных субъектах, обладающих достаточным статусом для разграничения справедливого и несправедливого, а о самом существовании нормы, обеспечивающей возможность и необходимость обращения к такому идеализированному прошлому, которое может рассматриваться в качестве непререкаемого образца для оценки поведения отдельных граждан и сообществ.

Объективной сложностью для анализа исторической справедливости становится необходимость различения двух понятий – исторической справедливости как инструмента публичного дискурса, используемого для переосмысления и переинтерпретации существующего политического порядка с целью его канселлинга, и исторической справедливости как категории этики, предполагающей в качестве объекта применения существующие способы обращения к прошлому.

В первом случае следует отдавать отчет в том, что сама апелляция к исторической справедливости формирует определенную бинарность публичных дискурсов, заключающуюся не только в поиске точки отсчета, но и в противопоставлении друг другу квазиэтических категорий «справедливость» и «правда». Дискурс восстановления справедливости направлен на изменение существующего положения конкретного сообщества, легитимируя потребность нового политического актора более активно участвовать в перераспределении символических ресурсов, зачастую за счет эксплуатации образа жертвы. Дискурс защиты исторической правды свойственен обороняющейся стороне, которая пытается сохранить существующий символический порядок от посягательств со стороны новых акторов.

Во втором случае речь идет о складывании нового проблемного поля на стыке классической философии истории, методологии исторической науки и этического знания, непосредственно связанного с поиском критериев различения и оценивания публичных исторических дискурсов. В ряде работ это проблемное поле уже приобрело зафиксированное название – историческая этика³. Выход за пределы сугубо политического дискурса позволяет

³ Более подробно см.: (Буллер, Линченко 2023).

говорить о перспективах исследования способов актуализации и реактуализации прошлого в контексте не только социально-политических процессов, но и этических категорий, выводящих проблему отказа от прошлого на уровень фундаментального философского осмысления.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Буллер А., Линченко А.А. 2023. Зачем нужна историческая этика? // Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология. Т. 39, № 3. С. 423-435. DOI 10.21638/spbu17.2023.302

Илларионов Г.А., Мосиенко М.К. 2023. «Войны памяти» и проблема социально-эпистемологического релятивизма // Антиномии. Т. 23, №. 1. С. 30-50. DOI 10.17506/26867206_2023_23_1_30

Мартьянов В.С. 2006. Об условиях возникновения теории справедливости в российской политике // Полис. Политические исследования. № 4. С. 61-73. DOI 10.17976/jpps/2006.04.07

Нора П. 2010 Расстройство исторической идентичности // Вестник российской нации. № 1–2. С. 181-188.

Посохов С.И. 2016. Метаморфозы исторической справедливости // Люди и тексты. Исторический альманах. № 8. С. 120-135.

Рикер П. 2004. Память, история, забвение. Москва : Издательство гуманитарной литературы. 728 с.

Фишман Л.Г. 2018. Жертва и рента // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. № 44. С. 94-102. DOI 10.17223/1998863X/44/9

Фишман Л.Г. 2024. Неравенство равных. Концепция и феномен ресентимента. Москва : Издательский дом ВШЭ. 272 с.

Barham K., Akar B. 2022. History Education for Justice and Empowerment in Palestine // *Public History Weekly. The Open Peer Review Journal*. Vol. 10, iss. 5. URL: <https://public-history-weekly.degruyter.com/10-2022-5/empowerment-education-palestine/> (дата обращения: 10.08.2024).

David L. 2020. *The Past Can't Heal Us: The Dangers of Mandating Memory in the Name of Human Rights*. Cambridge : Cambridge University Press. 226 p.

Heyd D. 2014. Parfit on the Non-identity Problem // *Law Ethics and Human Rights*. Vol. 8, iss. 1. P. 1-20. DOI 10.1515/lehr-2014-0003

Huseby R. 2023. Historical Injustice // *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. URL: <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.203> (дата обращения: 10.08.2024).

Jaspers K. 1946. *Die Schuldfrage*. Zürich : Artemis Verlag. 95 s.

Kokkinos G. 2022. On Historical Justice and History Education // *Public History Weekly. The Open Peer Review Journal*. Vol. 10, iss. 5. URL: <https://public-history-weekly.degruyter.com/10-2022-5/historical-justice-education/> (дата обращения: 10.08.2024).

Miller A.I. 2024. Global Memory Culture in Doubt // *Russia in Global Affairs*. Vol. 22, iss. 3. P. 32-44. DOI 10.31278/1810-6374-2024-22-2-32-44

Parfit D. 1984. *Reasons and Persons*. Oxford : Oxford University Press. 543 p.

References

Barham K., Akar B. History Education for Justice and Empowerment in Palestine, *Public History Weekly. The Open Peer Review Journal*, 2022, vol. 10, no. 5, available at: <https://public-history-weekly.degruyter.com/10-2022-5/empowerment-education-palestine/> (accessed August 10, 2024).

Buller A., Linchenko A.A. Why Do We Need the Ethics of History? *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Filosofija i konfliktologija* [Vestnik of Saint Petersburg University. Philosophy and Conflict Studies], 2023, vol. 39, no. 3, pp. 423-435. (In Russ.). DOI 10.21638/spbu17.2023.302

David L. *The Past Can't Heal Us: The Dangers of Mandating Memory in the Name of Human Rights*, Cambridge, Cambridge University Press, 2020, 226 p.

Fishman L.G. *Inequality of Equals. The Concept and Phenomenon of Ressentiment*, Moscow, Izdatel'skij dom VShJe, 2024, 272 p. (In Russ.).

Fishman L.G. Victimhood and Rent, *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofija. Sotsiologija. Politologija* [Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science], 2018, no. 44, pp. 94-102. (In Russ.). DOI 10.17223/1998863X/44/9

Heyd D. Parfit on the Non-Identity Problem, *Law Ethics and Human Rights*, 2014, vol. 8, no. 1, pp. 1-20. DOI 10.1515/lehr-2014-0003

Huseby R. Historical Injustice, *Oxford Research Encyclopedia of Politics*, 2023, available at: <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.203> (accessed August 10, 2024).

Illarionov G.A., Mosiyenko M.K. Memory Wars and the Problem of Socio-Epistemological Relativism, *Antimonii* [Antinomies], 2023, vol. 23, no. 1, pp. 30-50. (In Russ.). DOI 10.17506/26867206_2023_23_1_30

Jaspers K. *Die Schuldfrage* [The Question of Guilt], Zurich, Artemis Verlag, 1946, 95 p. (In German).

Kokkinos G. On Historical Justice and History Education, *Public History Weekly. The Open Peer Review Journal*, 2022, vol. 10, no. 5, available at: <https://public-history-weekly.degruyter.com/10-2022-5/historical-justice-education/> (accessed August 10, 2024).

Martyanov V.S. On Conditions of Emergence of Justice Theory in Russian Politics, *Polis. Politicheskie issledovaniya* [Polis. Political Studies], 2006, no. 4, pp. 61-73. (In Russ.). DOI 10.17976/jpps/2006.04.07

Miller A.I. Global Memory Culture in Doubt, *Russia in Global Affairs*, 2024, vol. 22, no. 3, pp. 32-44. DOI 10.31278/1810-6374-2024-22-2-32-44

Nora P. Historical Identity Disorder, *Vestnik rossijskoj nacii* [Bulletin of Russian Nation], 2010, no. 1-2, pp. 181-188. (In Russ.).

Parfit D. *Reasons and Persons*, Oxford, Oxford University Press, 1984, 543 p.

Posokhov S.I. The Metamorphoses of Historical Justice, *Ljudi i teksty. Istoricheskij al'manah* [People and Texts. Historical Almanac], 2016, no. 8, pp. 120-135. (In Russ.).

Ricoeur P. *Memory, History, Forgetting*, Moscow, Izdatel'stvo gumanitarnoj literatury, 2004, 728 p. (In Russ.).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Даниил Александрович Аникин

кандидат философских наук, старший научный сотрудник философского факультета Томского государственного университета, г. Томск, Россия; доцент кафедры теоретической и социальной философии Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов, Россия; ORCID: 0000-0001-6232-6557; ResearcherID: D-7070-2013; Scopus AuthorID: 56426263200; SPIN-код: 2015-5946; E-mail: dandee@list.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Daniil A. Anikin

Candidate of Philosophy, Senior Researcher, Faculty of Philosophy, Tomsk State University, Tomsk, Russia; Associate Professor, Department of Theoretical and Social Philosophy, Saratov State University, Saratov, Russia; ORCID: 0000-0001-6232-6557; ResearcherID: D-7070-2013; Scopus AuthorID: 56426263200; SPIN-code: 2015-5946; E-mail: dandee@list.ru



Фишман Л.Г. «Культура отмены» в России: от неприятия к ограниченному применению? // Антиномии. 2024. Т. 24, вып. 3. С. 70-82. https://doi.org/10.17506/26867206_2024_24_3_70

УДК 32.019.5

DOI 10.17506/26867206_2024_24_3_70

«Культура отмены» в России: от неприятия к ограниченному применению?

Леонид Гершевич Фишман

Институт философии и права Уральского отделения РАН

г. Екатеринбург, Россия

E-mail: lfishman@yandex.ru

*Поступила в редакцию 23.05.2024, поступила после рецензирования 15.07.2024,
принята к публикации 05.09.2024*

Статья посвящена трансформации отношения в России к «культуре отмены», зародившейся на Западе. До недавних пор превалировали негативные оценки, чему в немалой степени способствовал ряд феноменов, характерных для «культуры отмены». Среди них следует особо отметить страх; распространение отчуждения вплоть до прямого предательства со стороны коллег, близких, знакомых; самоутверждение за счет жертв; практики публичного самоуничтожения. Другая причина – наличие у России своего опыта «культуры отмены», что обусловило настороженное и негативное отношение к ней. Преобладающая в России оценка «культуры отмены» способствует игнорированию ее некоторых ключевых аспектов, а также некритической рецепции утрированной оценки данного феномена западными критиками право-консервативной («республиканской») ориентации. В основе западной «культуры отмены» лежат серьезные предпосылки, неустранимые в любом обществе, где имеют место двойные стандарты. Она фокусирует внимание на влиятельных и богатых, начиная с медиаперсон и заканчивая брендами и компаниями. В этом отношении она имеет ярко выраженный эгалитарный и демократический аспект. В России в последнее время оценки «культуры отмены» с почти исключительно негативных начинают меняться на умеренно позитивные. Например, отмена концертов ряда артистов за их подлинную или приписанную им антипатриотическую позицию подается как проявление «культуры отмены», в осуществлении которой задействовано российское гражданское общество. Апологетика действий внешне напоминает таковую на Западе. Начинаются апелляции к демократическому аспекту «культуры отмены», который ранее вызывал настороженное отношение. В таком виде «культура отмены» может восприниматься политическими элитами как безопасный и контролируемый феномен. Однако, по мнению автора статьи, в российских условиях



© Фишман Л.Г., 2024

моральные и иные издержки, связанные с его распространением, представляются неприемлемыми.

Ключевые слова: «культура отмены», гражданское общество, свобода слова, двойные стандарты, моральные издержки

Благодарности: Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-18-00427, <https://rscf.ru/project/23-18-00427/>

Cancel Culture in Russia: From Rejection to Limited Application?

Leonid G. Fishman

Institute of Philosophy and Law of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
Yekaterinburg, Russia

E-mail: lfishman@yandex.ru

Received 23.05.2024, revised 15.07.2024, accepted 05.09.2024

Abstract. The article deals with the evolving attitudes towards cancel culture in Russia, a phenomenon that originated in the West. Until recently, negative assessments prevailed, largely due to several features inherent in cancel culture. Notably, among these are fear; the spread of alienation up to direct betrayal by colleagues, relatives, and acquaintances; self-affirmation at the expense of victims; and practices of public self-deprecation. Another reason was Russia's own historical experience of cancel culture, which fostered a wary and negative attitude towards it. The dominant view of cancel culture in Russia contributes to the overlooking of some of its key aspects, as well as the uncritical reception of exaggerated critiques from Western right-wing conservative ("republican") reviewers. There are serious premises at the heart of Western cancel culture that cannot be eliminated in any society where double standards exist. Cancel culture directs its attention toward the powerful and wealthy, from media figures to brands and companies. In this regard, it has a distinctly egalitarian and democratic aspect. In Russia, assessments of cancel culture have recently shifted from being overwhelmingly negative to more moderately positive. For example, the cancellation of concerts by certain artists for their real or perceived anti-patriotism is framed as the application of cancel culture to them, with Russian civil society involved. The justifications for these actions resemble those seen in the West. Appeals to the democratic aspect of cancel culture, which were previously met with skepticism, are now emerging. In this form, cancel culture may be seen by the political elite as a safe and controllable phenomenon. However, the author of the article believes within the Russian context, the moral and other costs associated with the spread of cancel culture seem unacceptable.

Keywords: cancel culture, civil society, freedom of speech, double standards, moral costs

Acknowledgements: The research was carried out with the support of the Russian Science Foundation grant No. 23-18-00427, <https://rscf.ru/en/project/23-18-00427/>

For citation: Fishman L.G. Cancel Culture in Russia: From Rejection to Limited Application? *Antinomies*, 2024, vol. 24, iss. 3, pp. 70-82. (In Russ.). https://doi.org/10.17506/26867206_2024_24_3_70

Специфика российского взгляда на «культуру отмены»

В России западная «культура отмены» нередко представляется в гипертрофированно карикатурном свете, как извращение в ряду других извращений. Политика удаления имен, университетских курсов, выносов бюстов и так далее, с точки зрения российского наблюдателя, может производить впечатление безумия или недалёковидности. Как писал Э. Ренан, для формирования нации оказывается не лишним забывание некоторых моментов истории, особенно связанных с насилием или иным образом проявляющейся дискриминацией одной части нации по отношению к другой¹. Но набравшая популярность в США «культура отмены» строится как раз на отрицании такого забвения: на общенациональном уровне, например, сносятся памятники героям Конфедерации, на индивидуальном – журналистке припоминаются написанные десять лет назад «старые антиазиатские и гомофобные твиты»². Кажущаяся чрезмерной обидчивость и вытекающие из нее преследования за неосторожно сказанные фразы (например, цитирование литературных источников, в которых употребляется табуированное «слово на букву N») ведут к исключению из обсуждения важной исторической проблематики. Но политика по принципу «с глаз долой – из сердца вон» ведёт, с точки зрения стороннего наблюдателя, к утрате исторических корней: народ, забывающий прошлое, лишается будущего.

Поэтому в России по отношению к западной (преимущественно американской) «культуре отмены» до недавних пор преобладали негативные оценки – от сдержанных академических до эмоционально-публицистических. Например, констатировалось, что снос памятников лидерам Конфедерации свидетельствует о сервиллизме ряда американских интеллектуалов, которые стремятся не допустить появления и развития конкурирующих интерпретаций и институционализировать свою версию исторической памяти о Конфедеративных Штатах Америки через ликвидацию политически нежелательных монументов (Кирчанов 2017: 72-73). Другие описывали происходящее в категориях крушения всего казавшегося «нормальным, незыблемым, само собой разумеющимся». «Прогрессивисты» «изничтожают думающих и живущих иначе. <...> Уже первые картины этой новой Америки напоминают наступление армии зомби, которые должны либо превратить всех в себе подобных, либо уничтожить (заставить смириться, вычеркнуть из общественной жизни). Победитель в этой игре, цель которой – сломать через колено народ, получит все. Или ничего... Американская культура отмены – это антикультура, нацелившаяся на “от-

¹ Ренан Э. Что такое нация? Доклад, прочитанный в Сорбонне 11 марта 1882 г. // Lib.ru: «Классика». 26.10.2014. URL: http://az.lib.ru/r/renan_z_e/text_1882_chto_takoe_natzia.shtml (дата обращения: 20.05.2024).

² «Мне дали понять, что я не человек». Как работает «культура отмены» в США // Завтра. 11.02.2022. URL: https://zavtra.ru/blogs/mne_dali_ponyat_chno_ya_ne_chelovek_kak_rabotaet_kul_tura_otmeni_v_ssha?ysclid=lsa93t4bgq639386005 (дата обращения: 20.05.2024).

мену» вида Человек разумный»³. Третьи совмещали эмоциональный накал с академической формой изложения, в результате чего западная «культура отмены» становилась частью стратегии разрушения фундаментальных человеческих ценностей и оказывалась в одном ряду с «новой этикой», атомизацией общества, уничтожением естественных семейных уз, ювенальной юстицией, сексуальными меньшинствами, чипированием детей, инцестом, некрофилией и запретом на полноценное воспитание и образование молодежи (Боровков 2023: 21). Результатом понимаемой подобным образом «культуры отмены» предстает «дивный новый мир», где отменено все: мужчина и женщина, нация и государство, вера и нравственность (Боровков 2023: 22).

Словом, в России сформировалось негативное и ернически-ироническое отношение к «культуре отмены». Этому в немалой степени способствовал ряд характерных для нее феноменов, среди которых следует особо отметить страх; распространение отчуждения вплоть до прямого предательства со стороны коллег, близких, знакомых; самоутверждение за счет жертв; публичное самоуничижение.

Действительно, «культура отмены» сопровождается формированием *атмосферы страха*. Раскручивается «спираль молчания», людьми овладевает страх изоляции, который определяет общественное мнение. Люди склонны скрывать свое мнение, когда думают, что, выразив его, они подвергнут себя изоляционному давлению. В результате возникает спиральная динамика, заставляющая умолкнуть определенные мнения. Т. Садаба и М. Эрреро отмечают, что атмосфера страха, создаваемая коллективами в социальных сетях, порождает культуру, в которой идеи и мнения некоторых ученых замалчиваются (Sádaba, Herrero 2022: 319).

Другой компонент порождаемой «культурой отмены» атмосферы – отчуждение от жертвы вплоть до прямого *предательства* со стороны близких, друзей, коллег и знакомых. Нередко это отчуждение оправдывается высокими идеологическими и моральными соображениями. Конечно, в случае практики отмены ситуация далеко не всегда столь драматична, что дело доходит для прямого предательства. Тем не менее даже простое отчуждение, отказ от общения, осуществление каких-либо санкций на бытовом уровне, в профессиональной деятельности и так далее – феномены, находящиеся в одном ряду с предательством, поскольку оставляют человека в ситуации крушения ожиданий как от достаточно близких людей, так и от тех, кого он, по крайней мере, не считал своими врагами. Также может идти речь о предательстве некоторых норм и идеалов, например, академической свободы в случае с увольнением профессора, неосторожно употребившего слово «ниггер», под давлением борцов с расовой дискриминацией (Gondringer 2021: 27). В то же время для самих «предателей» ситуация отчуждения

³ Кудрявцев В. Культура отмены – Америка формирует новый человеческий вид. Армия зомби в наступлении // Фонд стратегической культуры. 15.03.2021. URL: <https://www.fondsk.ru/news/2021/03/15/kultura-otmeny-amerika-formiruuet-novyj-chelovecheskij-vid.html> (дата обращения: 20.05.2024).

не слишком дискомфортна, поскольку все их предательство обычно заключается в молчании (как это было с немцами по отношению к евреям в нацистской Германии; в СССР по отношению к жертвам сталинских репрессий, в США по отношению к лицам, обвиненным в антиамериканской деятельности в эпоху маккартизма, и т.д.).

Аналогичным образом сегодня там, где сформировалась «культура отмены», имеет место такое же «предательское» отчуждение большинства от жертв. Активное же меньшинство испытывает удовлетворение и радость от травли или наглядного достижения справедливости. Оно *самоутверждается за счет объекта отмены*, ощущая себя моральными героями и нередко испытывая садистское наслаждение. «Культура отмены» нацелена всегда на конкретных персон или бренды в силу невозможности искоренить какое-то явление (вроде «системного расизма») в целом. Это дает участникам акций и кампаний за отмену чувство удовлетворения, повышает социальный статус человека, открывает новые возможности для продвижения вверх, унижая других, и «служит сильной психологической мотивацией для некоторых людей» (Placio, Vargas, Estigoy 2021: 543). Показательно, что самоутверждение зачастую происходит за счет слабых. Как выразился один из отечественных авторов, «несколько сотен закэнселенных по всему миру в основном из числа знаменитостей второго и третьего эшелонов, потому что тех, кто в первом, трогать невыгодно»⁴. К. ван Экке по этому поводу замечает: «Отмена – подлая тактика. Это форма правосудия толпы, которая любит охотиться на легких жертв. <...> Жертвы отмены и публичного позора также выбираются по их уязвимости. <...> Толпа... тщательно отбирает своих жертв из рядов чувствительных – либерально настроенных людей, которые привержены прогрессивным ценностям и которые боятся, что их назовут расистами или сексистами, и чувство идентичности которых в значительной степени зависит от преданности ценностям инклюзии и толерантности»⁵. Именно такие относительно слабые жертвы и принуждаются к публичным покаяниям и извинениям, что в итоге их обычно не спасает.

Все перечисленные выше феномены, сопровождающие «культуру отмены», нам хорошо знакомы. До известной степени можно утверждать, что в России она не получила широкого распространения именно поэтому. Мы без труда можем провести аналогии с известными периодами отечественной истории, с практиками, по поводу желательности возвращения которых не достигнуто консенсуса. С определенной точки зрения «у России был свой опыт “культуры отмены”, имевший место задолго до появления этого термина. Примерами могут служить “отмены” отдельных деятелей политики и культуры – писателей, художников, музыкантов, актеров и т.д.; в со-

⁴ Байков А. Нет, «культура отмены» не новый институт репутации // Москвич Mag. 26.05.2021. URL: <https://moskvichmag.ru/lyudi/net-kultura-otmeny-ne-novyy-institut-reputatsii/> (дата обращения: 20.05.2024).

⁵ Eecke C. van. The Good Death – Cancel Culture and the Logic of Torture // Quillette. 09.09.2021. URL: <https://quillette.com/2021/09/09/the-good-death-cancel-culture-and-the-logic-of-torture/> (дата обращения: 20.05.2024).

ветское время из учебников изымались страницы с описанием опальных политиков, из общедоступного оборота исключались их сочинения и связанные с ними видеоматериалы. В более поздний период “под запрет” попадали фильмы с участием “отмененных” актеров, – например тех, кто в советское время эмигрировал за границу (С. Крамаров, О. Видов, Л. Круглый)... Сюда же можно отнести и снос памятников – после Октябрьской революции 1917 г. или транзита власти в более поздние периоды. Данные “отмены” поначалу имели составляющую стихийного протеста; однако затем они проводились планомерно, и были инициированы “сверху”, то есть не “народом”, от лица которого провозглашались, а от лица государственных структур» (Хлыщева, Тихонова 2023: 107).

Было бы преувеличением утверждать, что «культура отмены» в том смысле, в котором термин используется сейчас, является пройденным этапом отечественной истории. Однако некоторые феномены, схожие с теми, что сопровождают западную «культуру отмены», имели место и у нас. Поэтому она отражается в зеркале отечественной исторической памяти и политического опыта правящей элиты. Экзистенциалы, сопровождающие «культуру отмены», вызывают воспоминания о 1937 г. Кампании в соцсетях, в силу своей массовости, напоминают о полумифических «миллионах доносов». Неконтролируемое самоистребление периода Большого террора прочно отложилось в исторической памяти номенклатуры. Поэтому нечто напоминающее о нем сдержанно встречается представителями власти. В этом контексте шельмование западной «культуры отмены» – одна из стратегий контроля активности российского гражданского общества. Власть, охраняя свою монополию на символическое насилие, не дает слишком далеко зайти даже тем видам лояльной активности, которые напоминают западную «культуру отмены», пусть она и направлена в сторону актуальной или потенциальной пятой колонны. По этой же причине у власти нет оснований поощрять «культуру отмены» среди так называемых турбопатриотов: она может зайти дальше допустимого.

Все сказанное выше не означает, что преобладающая в России оценка «культуры отмены» полностью объективна, поскольку таковой не может быть никакая оценка, детерминированная *собственным* историческим опытом. Оценка с позиции российского исторического опыта (не говоря уже о потребностях политической конъюнктуры), конечно, дает известные преимущества взгляда со стороны, но она же способствует игнорированию некоторых аспектов, а также некритической рецепции искаженной, утрированной оценки «культуры отмены» западными критиками вполне определенной идеологической ориентации. В частности, в силу обстоятельств отечественной истории конца XX – начала XXI в. у нас сложилось скептическое отношение к радикальным способам достижения социальной справедливости. В США же «культура отмены» идеологически питается различными ответвлениями философии неомарксизма, а ее адепты провозглашают себя сторонниками социальной справедливости. Но у нас ассоциирующиеся с достижением социальной справедливости экзистенциалы и феномены вызывают отнюдь не только позитивные ассоциации. Также сказывается

страх элиты перед демократическими аспектами «культуры отмены», на которых стоит остановиться подробнее.

**«Культура отмены» в США:
демократические и этические аспекты**

Условно «республиканская» точка зрения на «культуру отмены», которой у нас придерживается большинство пишущих на данную тему, уже является «анекдотической версией» и следствием «преобладания стереотипов и карикатур», характерных для атмосферы американских дебатов (Coleman 2022: 213). В глазах консерваторов она сводится к растущему замалчиванию голосов противников, бросает вызов гегемонии либеральных ценностей во многих культурных пространствах, особенно в академических кругах. Тем самым она ограничивает свободу слова, усиливая социальное давление с целью идеологического конформизма, способствуя интеллектуальной изоляции в «пузырях» группового мышления, сегрегации по принципу «мы – они», академической нетерпимости и самоцензуры (Norris 2020).

Однако, с точки зрения оппонентов, паника по поводу «культуры отмены» по своей сути реакционна. Так, М. Хоббс утверждает, что она является реакцией консервативных элит, которые, будучи напуганы изменением социальных норм и ускоряющейся сменой поколений, пытаются превратить свое чувство обиды в национальный кризис. С этой точки зрения крики о «культуре отмены» представляются истерикой и моральной паникой сильных мира сего. На протяжении десятилетий американские средства массовой информации контролировались крошечной группой «прихватчиков» – редакторов, которые искренне верили, что если они сочтут какое-либо мнение не заслуживающим обнародования, то так оно и будет. Сейчас они обескуражены происходящим и хотят представить дело таким образом, что «те, кто выступает против несправедливости, эквивалентны самой несправедливости»⁶. С позиции активистов кампаний в пользу отмены кого-либо или чего-либо, вообще не существует такого понятия, как «культура отмены», есть только свобода слова. Как заявил американский журналист Ч. Блоу, «вы можете говорить и делать все, что заблагорассудится, а другие могут выбрать никогда больше не иметь дела с вами, вашей компанией или вашей продукцией. Богатые и влиятельные просто расстроены тем, что массы теперь могут организовать свое несогласие» (цит. по: Coleman 2022: 209).

Люди, находящиеся по другую сторону баррикад, полагают, что в ряде случаев объекты «культуры отмены» чрезмерно снисходительны к себе на основании того, что их высказывания – «всего лишь слова». Однако они выглядят безобидными только в пределах дискурса, в котором важен лишь говорящий, тогда как сами слушатели остаются невидимыми и не учиты-

⁶ Hobbes M. Don't Fall for the 'Cancel Culture' Scam // HuffPost. 10.07.2020. URL: https://www.huffpost.com/entry/cancel-culture-harpers-jk-rowling-scam_n_5f0887b4c5b67a80bc06c95e (дата обращения: 20.05.2024).

ваются (Coleman 2022: 231). Но это выглядит лицемерием в глазах тех, для кого столетиями такие «просто слова» были частью повседневной дискриминации, при которой их жизни подвергались прямой угрозе. Распространенная у нас ирония по поводу «культуры отмены» имеет основание с точки зрения опыта народа, у которого в прошлом главным фактором раскола было классовое деление и не имело ключевого значения деление на привилегированных и угнетенных по признаку расы. Американское же общество сформировалось во многом как национально-расовая пирамида, когда вновь прибывшая (не всегда добровольно) национальная или расовая группа занимает нижнее место в социальной иерархии. Затем она постепенно поднимается из полукриминальной сферы в легальную, как негры и латиноамериканцы. Для расово и религиозно близких подъем облегчается. Они, подобно евангельскому фарисею, могут ежедневно благодарить Бога за то, что отличаются от тех, кому не повезло с расой и цветом кожи. Для самых нижних, расово и культурно далеких, подъем по социальной лестнице ежедневно, ежечасно сопровождается бытовой или законодательно закрепленной дискриминацией, которая, с точки зрения дискриминирующих, выглядит как «всего лишь слова».

В итоге, когда «плавильный котел» ослабевает, замещаясь «салатом», выясняется, что единой американской нации на самом деле нет. Более того, оказывается, что нечто, называвшееся ею, с ряда точек зрения никогда не существовало. То, что казалось таковым, с самого начала было фактически построено на угнетении одной, ныне слабеющей, нацией других, отличающихся по культуре и цвету кожи. Поэтому то, что для одних есть безусловная ценность свободы слова, для других – свобода слова для «белого человека». На бытовом уровне она подразумевает в том числе свободу *привычно унижать и оскорблять* целые категории людей, зная, что никакой ответственности за это не будет (в отличие от попыток унижения и оскорбления равных) (Coleman 2022: 240-241). Поэтому «республиканскому» дискурсу свободы слова противопоставляется дискурс культуры последствий. И в его рамках свобода слова выглядит таковой только с точки зрения говорящих, потому что реальные издержки (психический и экономический вред, физическое насилие) несут слушатели. «При этом эмоциональная энергия и способности маргинализированных существ постоянно истощаются, поэтому привилегированные могут свободно говорить, не обращая внимания на воздействие своих слов» (Coleman 2022: 240).

Вопреки распространенному мнению, активисты «культуры отмены» обычно не придерживаются ценностей, сколько-нибудь значительно отличающихся от ценностей большинства, и в данном отношении не являются субъектами какой-то мифической «антикультуры». Суть стратегии отмены в том, чтобы нанести удар по двойным стандартам, заставить это самое большинство соблюдать собственные либерально-эгалитарные моральные нормы. В них, самих по себе, нет ничего такого, с чем представители истеблишмента могут позволить себе открыто не согласиться. Большинство (в том числе в России), будучи в здравом уме и твердой памяти, согласится с тем, что люди по природе равны и заслуживают уважения вне зави-

симости от пола, расы, цвета кожи. Проблема заключается в том, что хотя эти нормы были формально приняты десятилетия (если не столетия) назад, на практике они соблюдались не в полном объеме. И уж тем более на словах, в быту, в повседневности было обычным делом допускать разного рода оскорбительно-пренебрежительные высказывания по поводу негров, женщин, геев и т.д. Более того, поскольку такие высказывания для многих являлись важнейшим признаком собственной нормальности и первосортности, за это никак не осуждали и не наказывали. Это господство двойных стандартов, подпитывающее такое понимание реальной нормативности либерального общества, и есть то, что в дискурсе сторонников «новой этики» называется «системным расизмом». И касается оно отнюдь не только расы, но и вообще всякого рода лицемерия и самоутверждения за счет «низших» и «второсортных» под прикрытием свободы слова.

В пользу «культуры отмены» говорит и то, что она не только предполагает бойкот людей и продуктов, но и учит ответственности, поднимает социальные проблемы через широкую виртуальную платформу (Placio, Vargas, Estigoy 2021: 540). Также она играет большую роль в формировании личностной идентичности тех, кто строит ее на «дистанцировании от грязи», ассоциирующейся с определенными личностями или брендами⁷.

Наконец, следует учитывать, что воздействие «культуры отмены» зачастую преувеличено. Критики, подчеркивающие притеснение тех, кого отменяют, зачастую не учитывают контекста дисбаланса сил, в котором происходят отмены, а также крайнюю маловероятность того, что отмена для действительно богатых и влиятельных будет иметь долгосрочные негативные последствия. В большинстве случаев шум затихает без значительных последствий, «а влияние активизма быстро растворяется в море информации, распространяемой на платформах социальных сетей»⁸.

Следует еще раз напомнить, что основанием «культуры отмены» является стремление к восстановлению социальной справедливости. Это чуждо западным критикам правоконсервативной ориентации, а значит, и «классово близким» отечественным порицателям, которые просто повторяют аргументы своих вдохновителей. Западная «культура отмены», как она выглядит «снизу», фокусирует свое внимание на влиятельных и богатых, начиная с медиapersон и заканчивая брендами и компаниями. У нас нечто похожее на «культуру отмены», если бы ей дали развиваться, тоже фокусировалось бы на личностях, чье обладание богатством и влиянием тесно ассоциируется с социальной несправедливостью (например, с сохраняемым годами монопольным положением на эстраде). Оно бы проявлялось в русле своего рода

⁷ Smajlovic J., Åhl F. 2021. Distancing From Dirt: A Qualitative Study on How Cancel Culture Has Become a Resource for Identity Construction in an Online Setting (Master Thesis) // Lund University. URL: <https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordId=9057801&fileId=9057858> (дата обращения: 20.05.2024).

⁸ Álvarez Trigo L. Cancel Culture: The Phenomenon, Online Communities and Open Letters // PopMeC Research Blog – US Representations in Popular Media and Culture. 25.09.2020. URL: <https://popmec.hypotheses.org/3041> (дата обращения: 20.05.2024).

«ресентимента бедных» (Фишман 2022), который мы и замечаем в высказываниях в блогах и соцсетях по поводу тех или иных артистов.

Иными словами, с точки зрения апологетов «культуры отмены» или тех, кто пытается оценить ее объективно, последняя выглядит не столь карикатурно-угрожающе. У нее есть серьезные основания, укорененные как в американских реалиях, так и вообще в любом обществе, где процветают двойные стандарты. Питающий ее моральный импульс отвержения либерального лицемерия и пронизывающих американские реалии двойных стандартов сопоставим с аналогичным импульсом, имевшим место, например, у наших народников и иных революционеров. И если результаты их деятельности нельзя оценить однозначно в отношении ставшей ее следствием суммы добра и зла, то резонно подходить с той же меркой к «культуре отмены».

«Культура отмены» как опасный соблазн

С новым витком противостояния России и Запада восприятие «культуры отмены» как чего-то внешнего, чего не может у нас быть и что должно быть безусловно осуждено, укрепилось в связи с попытками «отменить Россию». Поскольку нашу страну попытались подвергнуть своего рода «цивилизационному остракизму» (Багдасарян и др. 2023), «культура отмены» стала описываться как infernalная «антикультура», отменяющая все другие культуры и создающая тем самым предпосылки для формирования «антицивилизации». Она ассоциируется в первую очередь с политикой, направленной на унижение и поражение России, а также других противников западной цивилизации (Багдасарян и др. 2023: 14). Однако, как отмечает Е.Г. Энтина, «“отмена” Западом России в глазах большинства стран мира стала возвеличиванием объекта. На практике получается, что так называемому коллективному Западу приходится пускать в ход все силы и ресурсы, чтобы ослабить Россию. Тем самым он сделал ее в глазах не-Запада, по сути, равновеликой себе» (Энтина 2022: 106).

В то же время с началом специальной военной операции наметилась следующая тенденция: оценки «культуры отмены» с почти исключительно негативных начинают меняться на умеренно позитивные. Отмена концертов ряда артистов за их подлинную или приписанную им антипатриотическую позицию подается как проявление «культуры отмены», в осуществлении которой задействовано гражданское общество. Апологетика действий напоминает таковую на Западе. Начинаются апелляции к демократическому аспекту, который ранее вызывал настороженное отношение. Так, один из блогеров, описывая позицию ставших объектами отмены медиаперсон, отмечает, что «их приучали к мысли, что именно их мнение чего-то значит. Не мнение миллионов простых людей, а вот этих ребят, живущих в каком-то своем закрытом от посторонних посетителей мире. И нет ничего удивительного в их современном поведении. Как раз наоборот, оно логично, и было бы странно, если бы все эти деятели культуры вели себя иначе. Ведь все, что сейчас происходит, не укладывается в их картину мира. Как это так

вышло, что они учили-учили нас своим взглядам, но внезапно мы не стали прислушиваться. Более того, появилось гражданское общество, которое начало требовать от государства уважения к себе и наказания вот этих деятелей»⁹. Другой блогер рассуждает следующим образом: «Имеет ли право артист, который осуждает Россию, выступать с концертами в ее городах? Да, имеет. Имеют ли право российские города отменять эти концерты? Тоже имеют. Принцип взаимности никто не отменял. Но вспомнили о нем совсем недавно. Не прошло и двух лет, так сказать... Многие звезды сокрушались, что “в России нет гражданского общества”, народ темен и нецивилизован. А оказалось, что гражданское общество у нас очень даже есть, и оно не хочет, чтобы здесь выступали гости из США. Не время сейчас... И надо добавит, что те, кто привык восхищаться западом, должны понять, что у нас тут самая настоящая цивилизованная страна: всё, как в европах. Гражданское общество есть (то, которое просит концерты отменить), свобода слова есть – что хочешь, то и говори. Культура отмены тоже есть! А в Европе это главное. Не разделяешь наши ценности? Сиди без денег и не отсвечивай»¹⁰.

Несмотря на то, что в подобного рода рассуждениях отсылки к российскому гражданскому обществу имеют отчетливый иронический подтекст, они отражают одну из важнейших черт «культуры отмены». Гражданское общество само по себе нигде никого отменить не может: для этого ему требуется содействие или молчаливое попустительство органов власти, работодателей, судебной-правовой системы. «Общественность», выступающая от лица большинства россиян, может писать сколько угодно обращений, но они обретают силу только в случае солидаризации с ними властей хотя бы муниципального уровня¹¹.

Если в России сейчас и формируется некий эквивалент «культуры отмены», то соответствующий распространенным у нас карикатурным представлениям о ней. Это «культура» довольно узкого круга активистов, преследующая в первую очередь относительно слабых и боящаяся связываться с сильными и ресурсными персонами, всегда действующая с оглядкой на властей предрержащих. «Культура отмены» в таком адаптированном виде может использоваться в качестве одного из инструментов управления настроениями российского общества, не вызывая опасений, что выйдет из-под контроля. Однако всегда следует помнить, что даже в этом случае она имеет ряд издержек, связанных со «спиралью страха», отчуждением, публичным унижением и покаяниями, чувством безнаказанности, возникающим при самоутверждении за счет тех, кто не может оказать сопротивление. Будет ли все это способствовать морально-политическому оздоровлению общества – отдельный вопрос.

⁹ Утомленная Россией интеллигенция // Дзен. 06.02.2024. URL: <https://dzen.ru/a/Zb9BSfw3X3D35VoS> (дата обращения: 20.05.2024).

¹⁰ Культура отмены концертов // Дзен. 27.02.2024. URL: https://dzen.ru/a/Zdzj_c5NKkyf79II (дата обращения: 20.05.2024).

¹¹ Новикова А. «Не позволим выступать непатриотам»: в России отменяют Орбакайте и Арбенину // Газета.Ru. 07.02.2024. URL: <https://www.gazeta.ru/culture/2024/02/07/18244189.shtml?updated> (дата обращения: 20.05.2024).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Багдасарян В.Э., Василик В.В., Иерусалимский Ю.Ю. и др. 2023. «Культура отмены»: феномен цивилизационного ostracизма. Материалы экспертного круглого стола // Вестник Государственного университета просвещения. Серия: История и политические науки. № 4. С. 6-35.

Боровков М.И. 2023. Сравнительный анализ современных мировоззренческих ценностей западной и российской цивилизаций // Мегатренды мировой политики: глобализация, поляризация, экстремизм / под ред. И.К. Харичкина. Москва : МГЛУ. С. 18-25.

Кирчанов М.В. 2017. Историческая политика, политика памяти и война с памятниками в США // США и Канада: экономика, политика, культура. № 12. С. 63-75.

Фишман Л.Г. 2022. Речи ни к кому: об эффективности критики российского ре-сентимента // Дискурс-Пи. Т. 19, № 2. С. 24-34. DOI 10.17506/18179568_2022_19_2_24

Хлыщева Е.В., Тихонова В.Л. 2023. «Культура отмены» как механизм конструирования национальной идентичности стран Каспийского макрорегиона (на примере анализа учебной литературы Казахстана и Туркменистана) // Концепт: философия, религия, культура. Т. 7, № 2. С. 104-123. DOI 10.24833/2541-8831-2023-2-26-104-123

Энтина Е.Г. 2022. От «отмененной России» к стране-цивилизации // Россия в глобальной политике. Т. 20, № 5. С. 98-108. DOI 10.31278/1810-6439-2022-20-5-98-108

Coleman F. 2022. The Anatomy of Cancel Culture // Social Science Research Network (SSRN). URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4377591 (дата обращения: 20.05.2024).

Gondringer M. 2021. Cancel Culture and Cancel Discourse: Cultural Attacks on Academic Ideals // St. Cloud State University. URL: https://repository.stcloudstate.edu/eng_etds/9/ (дата обращения: 20.05.2024).

Norris P. 2020. Closed Minds? Is a 'Cancel Culture' Stifling Academic Freedom and Intellectual Debate in Political Science? // Social Science Research Network (SSRN). URL: <https://ssrn.com/abstract=3671026> (дата обращения: 20.05.2024).

Placio E.D., Vargas D.S., Estigoy M.A. 2021. Virtual Call-Out: The Aggressions and Advantages of Cancel Culture // Innovations. Iss. 67. P. 538-555.

Sádaba T., Herrero M. 2022. Cancel Culture in the Academia: The Hispanic Perspective // Methadods. Revista de ciencias sociales. Vol. 10, núm. 2. P. 312-321. DOI 10.17502/mrcs.v10i2.594

References

Bagdasaryan V.E., Vasilik V.V., Ierusalimsky Yu.Yu. et al. "Cancel Culture": The Phenomenon of Civilizational Ostracism. Expert Round Table, *Vestnik Gosudarstvennogo universiteta prosveshhenija. Serija: Istorija i politicheskie nauki* [Bulletin of the State University of Education. Series: History and Political Science], 2023, no. 4, pp. 6-35 (In Russ.).

Borovkov M.I. Comparative Analysis of Modern Ideological Values of Western and Russian Civilizations, *Kharichkin I.K. (ed.) Megatrends of World Politics: Globalization, Polarization, and Extremism*, Moscow, MGLU, 2023, pp. 18-25. (In Russ.).

Coleman F. The Anatomy of Cancel Culture, *Social Science Research Network (SSRN)*, 2022, available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4377591 (accessed May 20, 2024).

Entina E.G. From "Russia Cancelled" to a Country-Civilization, *Rossija v global'noj politike* [Russia in Global Affairs], 2022, vol. 20, no. 5, pp. 98-108. (In Russ.). DOI 10.31278/1810-6439-2022-20-5-98-108

Fishman L.G. Speeches to No One: On the Effectiveness of Russian Ressentiment Criticism, *Diskurs-Pi* [Discourse-P], 2022, vol. 19, no. 2, pp. 24-34. (In Russ.). DOI 10.17506/18179568_2022_19_2_24

Gondringer M. Cancel Culture and Cancel Discourse: Cultural Attacks on Academic Ideals, *St. Cloud State University*, 2021, available at: https://repository.stcloudstate.edu/eng_etds/9/ (accessed May 20, 2024).

Khlysheva E.V., Tikhonova V.L. Cancel Culture in Constructing National Identity of the Caspian Macro-Region Countries (on the Example of Textbooks in Kazakhstan and Turkmenistan), *Koncept: filosofija, religija, kul'tura* [Concept: Philosophy, Religion, Culture], 2023, vol. 7, no. 2, pp. 104-123. (In Russ.). DOI 10.24833/2541-8831-2023-2-26-104-123

Kyrchanov M.V. Historical Politics. Politics of Memory and War with Monuments in the USA, *SShA i Kanada: jekonomika, politika, kul'tura* [USA & Canada: Economics, Politics, Culture], 2017, no. 12, pp. 63-75. (In Russ.).

Norris P. Closed Minds? Is a 'Cancel Culture' Stifling Academic Freedom and Intellectual Debate in Political Science? *Social Science Research Network (SSRN)*, 2020, available at: <https://ssrn.com/abstract=3671026> (accessed May 20, 2024).

Placio E.D., Vargas D.S., Estigoy M.A. Virtual Call-Out: The Aggressions and Advantages of Cancel Culture, *Innovations*, 2021, no. 67, pp. 538-555.

Sádaba T., Herrero M. Cancel Culture in the Academia: The Hispanic Perspective, *Methaodos. Revista de ciencias sociales* [Methaodos. Journal of Social Sciences], 2022, vol. 10, no. 2, pp. 312-321. DOI 10.17502/mrcs.v10i2.594

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Леонид Гершевич Фишман

доктор политических наук, профессор РАН, главный научный сотрудник Института философии и права Уральского отделения РАН, г. Екатеринбург, Россия;
ORCID: 0000-0001-5062-8291;
ResearcherID: K-2346-2018;
Scopus AuthorID: 36191617100;
SPIN-код: 8725-9656;
E-mail: lfishman@yandex.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Leonid G. Fishman

Doctor of Political Science, Professor of the Russian Academy of Sciences, Chief Researcher, Institute of Philosophy and Law of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, Russia;
ORCID: 0000-0001-5062-8291;
ResearcherID: K-2346-2018;
Scopus AuthorID: 36191617100;
SPIN-code: 8725-9656;
E-mail: lfishman@yandex.ru



Линченко А.А., Трутенко Е.В. Коммеморации сообществ отмены в условиях цифровизации // Антиномии. 2024. Т. 24, вып. 3. С. 83-100. https://doi.org/10.17506/26867206_2024_24_3_83

УДК 327:172.4

DOI 10.17506/26867206_2024_24_3_83

Коммеморации сообществ отмены в условиях цифровизации

Андрей Александрович Линченко

Липецкий филиал Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации
Липецкий государственный технический университет
г. Липецк, Россия
E-mail: linchenko1@mail.ru

Елена Владимировна Трутенко

Томский государственный университет
г. Томск, Россия
Липецкий филиал Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации
г. Липецк, Россия
E-mail: shiboko@yandex.ru

*Поступила в редакцию 07.07.2024, поступила после рецензирования 02.09.2024,
принята к публикации 05.09.2024*

Статья представляет собой теоретическое исследование особенностей трансформации коммемораций современных сообществ отмены в условиях влияния цифровизации на способы фиксации, хранения, воспроизводства и трансляции образов коллективной памяти. На основе конструктивистской методологии П. Бурдьё и анализа актуальных примеров общественных движений *Black Lives Matter* и *Rhodes Must Fall* выделяются ключевые особенности современных сообществ отмены как мнемонических сообществ: гипертрофированная идея протеста как идеологическая основа деконструкции прошлого; конструирование преемственности с исторически маргинализированными группами; ключевая роль цифровых технологий; практический характер коммемораций и способов выражения контрпамяти; транснациональный характер практик мемориальной культуры. Обращение к результатам теоретических работ представителей «третьей волны» *memory studies* позволяет сделать вывод о существенном значении цифрового поворота в исследованиях памяти. Это находит выражение в появлении новых типов мнемонических сообществ, где решающую роль играют не общие паттерны идентичности, а социальные



© Линченко А.А., Трутенко Е.В., 2024

сети и взаимодействие посредством хештегов. Использование ключевых концептов *digital memory studies* – коннективный поворот, глобитальная память, цифровой архив, геймификация – в качестве теоретической рамки исследования позволяет выявить и проанализировать основные тенденции трансформации коммеморативных практик сообществ отмены в условиях цифровизации: усиление эффекта коммемораций сообществ отмены и их особая темпоральность; повышение роли индивидуального измерения коммеморативных практик и рост влияния мнемонического активизма; интернационализация практик; повышение роли латентных и пассивных форм участия в коммеморациях; активное формирование цифрового архива сообществ отмены и использование его как альтернативного института памяти, фокусирующегося на протестных формах репрезентации прошлого.

Ключевые слова: «культура отмены», сообщества отмены, исследования цифровой памяти, коннективный поворот, глобитальная память, цифровой архив, геймификация

Благодарности: Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-18-00465, <https://rscf.ru/project/23-18-00465/>

Commemorations of Cancel Communities in the Context of Digitalization

Andrei A. Linchenko

Lipetsk Branch of the Financial University under the Government of Russian Federation
Lipetsk State Technical University
Lipetsk, Russia
E-mail: linchenko1@mail.ru

Elena V. Trutenko

Tomsk State University
Tomsk, Russia
Lipetsk Branch of the Financial University under the Government of Russian Federation
Lipetsk, Russia
E-mail: shiboko@yandex.ru

Received 07.07.2024, revised 02.09.2024, accepted 05.09.2024

Abstract. The article is a theoretical study of the transformation peculiarities of commemorations within modern cancel communities in the context of the influence of digitalization on the ways of recording, storing, reproducing and transmitting collective memory. Based on the constructivism of Pierre Bourdieu and the analysis of the contemporary social movements such as Black Lives Matter and Rhodes Must Fall, the article highlights the main features of modern cancel communities as mnemonic communities: an exaggerated focus on protest as an ideological basis for deconstructing the past, the construction of continuity with historically marginalized groups, the key role of digital technologies, the practical nature of commemorations and the expression of counter-memory, as well as the transnational nature of memory culture practices. Findings from the third wave memory studies underscores the significance of the digital turn in the field of memory research. This is evident in the emergence of new types of mnemonic communities, where the decisive role is played not by common patterns of identity, but by connective networks

and hashtag interactions. The use of key concepts of digital memory studies – connective turn, global memory, digital archive, gamification – as a theoretical framework allows us to identify and analyze the main trends in the transformation of commemorative practices in cancel communities in the context of digitalization. These trends include the amplification of commemorative practices in cancel communities and their unique temporality, the growing importance of the individual participation and mnemonic activism, the internationalization of commemorative practices, the rising influence of latent and passive forms of participation, and the active development of digital archives that serve as an alternative memory institution, focusing on protest forms of representation of the past.

Keywords: cancel culture, cancel communities, digital memory studies, connective turn, global memory, digital archive, gamification

Acknowledgments: The research was carried out with the support of the Russian Science Foundation grant No. 23-18-00465, <https://rscf.ru/en/project/23-18-00465/>

For citation: Linchenko A.A., Trutenko E.V. Commemorations of Cancel Communities in the Context of Digitalization, *Antinomies*, 2024, vol. 24, iss. 3, pp. 83-100. (In Russ.). https://doi.org/10.17506/26867206_2024_24_3_83

Введение

Активное проникновение цифровых технологий во все сферы общественной жизни не просто изменяет социальные процессы и структуры, но приводит к появлению принципиально новых сторон общественной жизни, когда цифровая среда является не столько отражением, сколько ключевым фактором конструирования социальных отношений, динамики социальных процессов, а также выступает средой трансформации социальных структур. Именно этот тезис стоит за многочисленными попытками зафиксировать очередной методологический поворот в социально-гуманитарном знании, получивший наименование цифрового (Boyle 2013; Nicholson 2013; Павловский, Миллер 2023). Заметным оказалось его влияние на практики и дискурсы общественных движений (Merrill, Keightley, Daphi 2020; Kirik, Çentinkaya, Kurşun 2021; Toruk, Sari, Nazli 2023), среди которых в последние годы особо выделяются сообщества отмены, не только активно использующие цифровые технологии, но и в определенном смысле оказавшиеся «рожденными» ими (Liebermann 2021).

Целью настоящей статьи является анализ влияния цифровизации на коммеморативные практики современных сообществ отмены. Данная цель предполагает их теоретическую интерпретацию как мнемонических сообществ и использование основных понятий *digital memory studies* в качестве теоретической рамки для изучения специфики их коммеморативных практик. Исследование будет опираться на ряд эмпирических исследований зарубежных сообществ отмены. Поскольку в рамках одной статьи не представляется возможным охватить весь спектр проявлений «культуры отмены», равно как и многочисленные вариации сообществ отмены, мы сосредоточим внимание на анализе кейсов *Black Lives Matter* и *Rhodes Must Fall* в США, Великобритании, Австралии и ЮАР. Такой выбор обусловлен, с одной стороны, их общекультурными основаниями как представителей

англоговорящего мира, с другой – спецификой их отношения к британскому колониализму (Великобритания – метрополия, Австралия и ЮАР – бывшие британские колонии и члены Содружества наций, США – бывшая британская колония, ранее других добившаяся независимости). Выбранные кейсы не только позволят увидеть актуальные примеры влияния цифровизации на коммеморации сообществ отмены, но и откроют дорогу для более широкой теоретической рефлексии.

Сообщества отмены как мнемонические сообщества

В словаре *Merriam-Webster* под «культурой отмены» понимается практика или тенденция участия в массовом канселлинге как способе выражения неодобрения и оказания социального давления¹. Исследователи подчеркивают, что термин является предельно широким и может быть конкретизирован через такие понятия, как объект «культуры отмены» (личность, социальная группа, бренд, компания), практики отмены, или канселлинг (посты в медиа, публичные акции), дискурсы отмены (дискуссии и комментарии о практиках отмены и их последствиях) (Ng 2022: 5). На наш взгляд, данный список требует дополнения в контексте упоминания акторов, поскольку именно от их стратегий и тактик зависят особенности практик и дискурсов отмены. Мы также полагаем, что имеет смысл использовать для обозначения их деятельности общее понятие «культура отмены», поскольку, несмотря на национальную специфику акторов, их целей и используемых средств, в целом наблюдается общая тенденция распространения данного феномена как современной формы социального остракизма.

Не менее важным вопросом в этой связи является выделение уровней канселлинга, что, в свою очередь, позволяет существенно дополнить понимание специфики деятельности акторов. Исследования последних лет выделяют активистов (Borysovych, Chaiuk, Karpova 2020; Sebeelo 2021), сообщества (Traversa, Tian, Wright 2023), институты (Picarella 2024). Особое место в этом ряду занимают сообщества отмены, которые оказываются более влиятельными, чем отдельные активисты, и в то же время более гибкими в своей деятельности, чем институциональные акторы.

Если отталкиваться от теории П. Бурдьё (Бурдьё 2017), можно считать сообщества отмены одной из форм общественных движений, которые конкурируют с другими акторами социального поля за участие в перераспределении символического капитала. Значимым символическим ресурсом при этом является обращение сообществ отмены к историческим событиям и образам коллективной памяти, что превращает их в мнемонические сообщества. Приведем в этой связи мнение известного немецкого египтолога Я. Ассмана о том, все сообщества в определенном смысле являются мнемоническими, поскольку формируют свою идентичность на основе разделяемых коллективных воспоминаний (Ассман 2004).

¹ Cancel Culture // Merriam-Webster Dictionary. URL: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/cancel%20culture> (дата обращения: 05.07.2024).

Как показывают исследования, «коллективную память современного общества контрпродуктивно рассматривать как нечто гомогенное и монолитное. Напротив, она представляет собой соединение разных элементов, нередко противоречащих друг другу» (Летняков 2021: 72). При этом особо подчеркивается, что доминирующим актором политики памяти по-прежнему остается государство (Русакова 2023: 35). Это означает, что повестка сообществ отмены как мнемонических сообществ выстраивается в первую очередь в отношении доминирующего на официальном уровне исторического нарратива.

На первый взгляд, сообщества отмены как мнемонические сообщества ничем не отличаются от других общественных движений, использующих память для мобилизации сторонников и конструирования идентичности. Применительно к сообществам отмены мы также можем указать на коммеморации, выраженные в эмоциях (Goodwin, Jasper, Polletta 2001), нарративах (Polletta 2006), ритуалах (Juris 2008; Flesher Fominaya 2014). Однако, сохраняя особенности коммемораций общественных движений, сообщества отмены как мнемонические сообщества с самого момента своего появления приобрели целый ряд специфических черт. Богатый эмпирический материал содержится в многочисленных исследованиях современных сообществ отмены, активно обращающихся к прошлому и использующих его в качестве одного из ключевых символических ресурсов. В нашем случае это будут такие движения, как *Black Lives Matter* (BLM) (Borysovych, Chaiuk, Karpova 2020; Leyh 2020; Edmonds 2021; Liebermann 2021; Pesarini, Panico 2021) и *Rhodes Must Fall* (RMF) (Kwoba, Chantiluke, Nkoro 2018; Sebeelo 2021). Перечислим эти характерные черты.

Во-первых, ключевой идеей сообществ отмены как мнемонических сообществ является гипертрофированный протест, что выдвигает на первый план не столько реконструкцию «славного прошлого», «возвращение к традициям», сколько деконструкцию исторического наследия социальной несправедливости. При этом деконструируемое прошлое обычно сводится к деятельности отдельных лиц или групп угнетателей (Borysovych, Chaiuk, Karpova 2020).

Во-вторых, несмотря на то что сообщества отмены обращены в первую очередь к различным формам дискриминации и угнетения в настоящем и являются общественно-политическими конструктами современности, в некоторых случаях за ними стоят исторически маргинализированные группы и сообщества. Это позволяет им конструировать мифологизированные формы преемственности как с определенными социальными группами, так и отдельными личностями. Ярким примером является общественное движение *BLM*, идеологические основы которого связаны с деколонизацией, трактуемой ее сторонниками достаточно вольно (Котунова 2022: 93).

В-третьих, сообщества отмены, рожденные в эпоху глобального Интернета и социальных сетей, используют весь имеющийся потенциал цифровых технологий для продвижения актов канселлинга, мобилизации сторонников и конструирования идентичности. В этой связи, как отмечают зарубежные

исследователи, данные технологии становятся единственным способом выразить собственное восприятие национальной памяти (Kansteiner 2002: 187), особенно в условиях всепоглощающей «амнистии» американских архивов по отношению к дискриминации маргинализированных групп и сообществ (Sutherland 2017: 1; Liebermann 2021: 715).

В-четвертых, мемориальная культура сообществ отмены имеет предельно практический характер и, как правило, создается стихийно не только сторонниками, но и сочувствующими практикам канселлинга (Edmonds 2021; Sebeelo 2021).

В-пятых, мемориальные практики современных сообществ отмены являются транскультурными и транснациональными. Канселлинг выбранных образов прошлого встречает активную поддержку групп и сообществ в других регионах мира (Leyh 2020; Edmonds 2021; Horst 2021; Liebermann 2021).

Изучение мнемонических сообществ в условиях цифрового поворота

Развитие средств массовой информации, социальных сетей и онлайн-платформ оказывает существенное влияние на трансформацию мнемонических сообществ, что позволяет исследователям говорить о наступлении «третьей волны» *memory studies* (Feindt et al. 2014). Она получает распространение в начале XXI столетия и ориентируется на культурные последствия медиатехнологий в процессе сохранения и трансляции коллективной памяти. Другими словами, в центре внимания оказываются исследования коммуникаций (Hutton 2016: 177). Не вызывает сомнений, что «третья волна» сохраняет распространенное убеждение большинства исследователей, согласно которому «коллективная память является социокультурной конструкцией», при этом она функциональна, когда «социальные группы сохраняют память о прошлом, преследуя различные цели» (Сафронова 2019: 33). К этому добавим тезис М. Ротберга о многовекторном характере трансформаций коллективной памяти, что указывает на множественность и нелинейность способов коммемораций в современной культуре (Rothberg 2009). Отечественный философ Ф.В. Николаи отмечает еще один важный признак современных *memory studies*: «Исследователей все чаще интересуют не отдельные точки (“места памяти”), но общая топология этого пространства, его движущие силы и динамические эффекты, определяющие растущую пролиферацию культурных практик и смену режимов соотношения жизненного опыта и медиарепрезентаций» (Николаи 2018: 371).

Цифровой поворот в социально-гуманитарных науках усилил перечисленные выше тенденции, в связи с чем исследователи заговорили о «новой медиаэкологии». Она, подчеркивает Р.-Я. Адриансен со ссылкой на В. Канштайна (Kansteiner 2002), значительно отличается от эры телевидения, которая основывалась по большей части на отношениях «при-вратника» и аудитории и на идее о памяти как о том, что создается для пассивно воспринимающих потребителей (Adriaansen 2024: 3). Коммуникация

в современной медиасреде, как отмечает Э. Хоскинс, имеет диалогический характер, в результате чего образы коллективной памяти достраиваются смыслами как со стороны коммуникатора, так и реципиента (Hoskins 2018). Ярким примером выступает переосмысление идеи архива, который более не связан жестко с крупными институциональными акторами, а оказывается результатом деятельности онлайн-платформ, документирующих и сохраняющих любые формы активизма (Moss 2018).

«Третья волна» *memory studies* стала отправной точкой для новой предметной области, получившей наименование *digital memory studies* (Hoskins 2018; Merrill, Keightley, Daphi 2020; Павловский, Миллер 2023). В данном случае отмечается непосредственное влияние цифровизации на коммуникационные процессы в отношении прошлого, являющиеся неотъемлемой частью любого мнемонического сообщества. Следствием оказывается преодоление представления о мнемоническом сообществе как своеобразном «контейнере» с четко обозначенными границами (Olick 2014: 23). Существенный интерес в этой связи представляет исследование Р.-Я. Адриансена (Adriaansen 2024), выделившего два основных теоретико-методологических подхода в изучении мнемонических сообществ.

Первый подход, отражая социокультурное измерение процесса создания мнемонических сообществ, указывает на то, что они могут не быть привязаны к географическим границам, но обязательно являются результатом вовлеченности в те или иные практики и мнемонические паттерны. В таком случае онлайн-платформы и прочие цифровые средства являются не более чем виртуальным обрамлением сообществ, имеющих общую сферу коммуникации, маркер идентичности или объект ностальгии (Adriaansen 2024: 5).

Второй подход рассматривает мнемоническое сообщество как сеть, где главную роль играют не отдельные участники, а онлайн-платформы, цифровые структуры и узлы взаимодействия. Ключевым способом формирования такого сообщества является интенсивность и полнота цифровых коммуникаций, а его структура оказывается производной от паттерна электронного взаимодействия (например, посредством хештегов). Общность интересов учитывается, но не является основным критерием для вхождения в сообщество.

Ориентируясь на второй подход, Р.-Я. Адриансен предлагает говорить о двух типах мнемонических сообществ – явных и латентных (Adriaansen 2024: 6). Первый тип объединяет сторонников, сознательно и активно участвующих в деятельности сообщества, в то время как латентные сообщества могут быть выделены только через цифровые следы или высокий уровень коннективности. В последнем случае наличие исторического сознания не является значимым критерием принадлежности к данному типу сообществ. Сам автор разворачивает свое исследование латентных мнемонических сообществ на примере использования наиболее популярных хештегов в социальной сети X (бывший *Twitter*). Следует заметить, что данный подход набирает все большую популярность в *digital memory studies* (Frassinelli 2018; Sebeelo 2021; Smit 2022).

Теоретическая рамка исследования сообществ отмены

Важной вехой развития *digital memory studies* принято считать 2009 г., когда вышло сразу несколько манифестов этого исследовательского направления. С тех пор наблюдается не только количественный рост эмпирических исследований, но и заметный сдвиг интереса в сторону выработки целого ряда теоретических концептов, позволяющих говорить о существенном изменении самого исследовательского поля. Подводя итог многолетним зарубежным дискуссиям, А.Ф. Павловский, один из редакторов первого русскоязычного сборника статей, посвященных *digital memory studies*, выделяет четыре наиболее важных концепта: коннективный поворот, глобитальная память, цифровой архив, геймификация прошлого (Павловский, Миллер 2023: 11). Мы используем их как теоретическую рамку нашего исследования.

Понятие «коннективный поворот» введено Э. Хоскинсом, который определяет его следующим образом: это грандиозный рост количества, распространенности и доступности цифровых технологий, устройств и медиа, формирующих непрерывную перекалибровку времени, пространства (и места) и памяти людей по мере того, как они присоединяются к социальным сетям, населяют их и делают их все более плотными и в то же время размытыми. Иными словами, вещи (люди, отношения, объекты, события), подверженные коннективному повороту, находятся в постоянном движении и становятся более видимыми благодаря связанности культуры постдефицита (Hoskins 2011: 271).

Понятие «коннективный поворот» отсылает к дискуссиям, развернувшимся в 2010-е гг. по поводу возможностей цифровой среды изменять социальное действие, которое становится не столько коллективным, сколько коннективным (Bennett, Segerberg 2012; Hoskins, Tulloch 2016). Традиционная логика коллективного действия предполагает социальный порядок иерархии институтов и социальных групп, где персональное участие требует особого уровня вовлеченности и идентичности, следования общим целям, активно поддерживаемых и транслируемых формальными организациями. «Сети коннективного действия могут различаться в терминах стабильности, масштаба и согласованности, но организованы они на других принципах. Такие сети, как правило, являются более индивидуализированными и технологически организованными совокупностями процессов, которые приводят к действию без необходимости формирования коллективной идентичности или уровней организационных ресурсов, необходимых для эффективного ответа на представляющиеся возможности» (Bennett, Segerberg 2012: 750). Теоретическими источниками возникновения концепта «коннективное действие» считаются работы М. Грановеттера, посвященные изучению слабых социальных связей и их сетей, а также концепция сетевого общества М. Кастельса.

Что же дает нам применение концептов «коннективный поворот» и «коннективное действие» для понимания коммеморативных практик сообществ отмены?

Во-первых, вследствие невероятной мобильности и особой темпоральности пространства цифровых взаимодействий, эффект практик отмены многократно усиливается. Это связано с тем, что акты канселлинга и коммеморации вокруг них могут воспроизводиться в любой точке мира, где есть Интернет, не только моментально, но и многократно, постоянно оказываясь частью настоящего. Ярким примером того, что благодаря цифровизации акты канселлинга и их коммеморации оказываются трансграничными, является стихийная и быстрая реакция в разных странах на убийство Дж. Флойда, произошедшее в США 25 мая 2020 г. и активизировавшее сторонников движения *BLM*. Так, уже 7 июня в Великобритании участники демонстрации снесли памятник Э. Колстону. Один из протестующих при этом демонстративно поставил колено на горло бронзовой статуи, символизируя ответ *BLM* на действия американских полицейских (Borysovych, Chaiuk, Kaprova 2020: 334). В Сиднее 12 июня начались протесты, которые изначально акцентировали внимание на полицейском насилии в отношении аборигенов, а затем на колониальных корнях угнетения коренного населения Австралии. Митингуя недалеко от памятника Дж. Куку, протестующие подчеркивали свое единство с *BLM*, используя в качестве лозунгов последние слова Дж. Флойда (Edmonds 2021: 802).

Во-вторых, доминирование коннективного действия в практиках отмены усиливает роль индивидуального измерения каждой акции по продвижению контрпамяти, где ключевыми драйверами выступают самомотивация и персональная экспрессия (Merrill, Keightley, Daphi 2020: 3). Ярким примером является начало общественного движения *RMF*, ставшего реакцией в социальных сетях (*#RhodesMustFall*) на поступок студента Кейптаунского университета Ч. Максвелле, бросившего 9 марта 2015 г. корзину с фекалиями на статую С. Родса. Показательно, что событие стало широко известно именно благодаря социальным сетям, в то время как похожие акции контрпамяти в 1970-е гг. далеко не сразу стали предметом международного внимания (Sebeelo 2021: 102).

В-третьих, быстро получающие огласку акты канселлинга и формирующаяся на их основе новая мемориальная культура начинают заметно опережать в мобилизации общественных движений традиционные институты памяти, существующие в большинстве случаев как формальные организации, а также действия властей, пытающихся в той или иной степени сохранять и воспроизводить официальный исторический нарратив. Подтверждением служит масштаб последовавших за убийством Дж. Флойда практик контрпамяти: в 2020–2021 гг. из публичного пространства удалили 108 памятников в США (из них 27 – в Вирджинии), 17 – в Великобритании, 13 – в Канаде, 1 – в Австралии.

В-четвертых, коннективный поворот, описанный Э. Хоскинсом и его коллегами, позволяет увидеть, что современные сообщества отмены способны делать одновременно видимыми множество кейсов по всему миру, создавая ощущение «единого ландшафта» контрпамяти и используя его как особый символический ресурс влияния. В этой связи показательна реакция протестующих в Палестине и Бразилии, где для визуализации

образов протеста против полицейского насилия использовалась символика и риторика *BLM* (Liebermann 2021: 725). Схожая ситуация сложилась с *RMF*, опыт которого был адаптирован в рамках движений *Fees Must Fall* в ЮАР и *Sokwanele* в Зимбабве (Sebeelo 2021: 103).

Важное место в словаре *digital memory studies* занимает понятие «глобитальная память». Его ввела А. Ридинг, стремясь осуществить синтез глобальной перспективы изучения памяти и ведущей роли цифровых коммуникаций. По ее мнению, поле глобитальной памяти «характеризуется неравномерно распределенными цифровыми воспоминаниями как гендерными совокупностями, мобилизованными такими агентами памяти, как кураторы музеев, журналисты, государственные и международные акторы, корпорации и протестные группы, работающие над тем, чтобы защитить их на крайне подвижном поле борьбы» (Reading 2014: 751). Ключевая мысль А. Ридинг состоит во все более возрастающей глобальной взаимосвязи цифровых технологий и коммеморативных практик. Решающую роль в формировании данного союза играют мобильные устройства и гаджеты, позволяющие мгновенно тиражировать информацию в социальных сетях. Поэтому глобитальную память можно обозначить и как мобильную.

Влияние глобитальной памяти на коммеморации сообществ отмены является не меньшим, чем в случае с коннективным поворотом:

1) она позволяет создавать вокруг отдельных актов канселлинга интернациональные арены обсуждения, где отдельный человек со смартфоном оказывается таким же актором, как сообщество или социальный институт, несмотря на их превосходящие финансовые и информационные ресурсы. В этой связи ценным представляется замечание Т. Бош, которая в результате исследования различных аспектов кампании *Rhodes Must Fall* приходит к выводу, что ее следует рассматривать как «коллективный проект сопротивления производству нормативной памяти, создающий новый ландшафт памяти “меньшинств” и выдвигающий на первый план память групп, ранее невидимых в этом ландшафте» (Bosch 2017: 222);

2) использование гаджетов как персональных инструментов формирования и трансляции коммемораций сообществ отмены заметно повышает роль активизма, что неоднократно отмечалось исследователями (Sebeelo 2021; Gutman, Wüstenberg 2023);

3) высокая интенсивность циркуляции образов памяти в Интернете приводит к эффекту ремедиации практик отмены, когда они не просто транслируются, но и получают новые неожиданные интерпретации, превращаясь тем самым в составную часть других мемориальных культур. Показательна в данном случае ремедиация памяти о Т. Мартине – 17-летнем афроамериканце, застреленном 26 февраля 2012 г. Дж. Циммерманом – участником «соседского дозора» в городке Твин Лейкс. Случившееся не только стало поводом для массовых протестов, но и коммемораций в социальных сетях, где образ убитого был визуально объединен с Э. Тиллем – жертвой куклуксклановцев в 1955 г. (Liebermann 2021: 720-721);

4) технологические возможности гаджетов порождают многообразие форм участия в практиках канселлинга, где поддержка сообщества отмены

и его коммемораций может ограничиться пассивными формами (слактивизм, кликтивизм) (Toruk, Sari, Nazli 2023).

Третьим важным понятием *digital memory studies*, используемым практически в каждом тематическом исследовании, является цифровой архив. Лидером по числу интерпретаций до сегодняшнего времени остается работа Дж. Гарде-Хансен (Garde-Hansen 2011), где выделяются четыре возможных аспекта влияния процессов цифровизации на архивы. Во-первых, появление на основе цифровых технологий новых институтов архивации, сохраняющих и транслирующих культурное наследие (например, мемориальный веб-сайт событий 11 сентября 2001 г.), которые могут быть независимы от власти или доминирующих институтов памяти, транслирующих официальный исторический нарратив. Во-вторых, повышение роли цифровых технологий и онлайн-платформ в качестве инструментов создания архивов (например, коллекции аудиозаписей *Google*). В-третьих, появление самоархивации как явления современной мемориальной культуры. В данном случае имеются в виду возможности социальных сетей архивировать блоги и посты в аккаунтах, а также создавать вокруг новых медиа их собственную память. В-четвертых, «креативный» характер архивирования, когда цифровые технологии способны, например, создавать аккаунты погибших людей или игры, воспроизводящие трагический опыт жертв терактов (Garde-Hansen 2011: 72). Автор приходит к выводу о все более отчетливо проявляющейся демократизации архивов, освобождении информации и знаний о прошлом.

Это имеет принципиальное значение и для коммемораций сообществ отмены: их протестный характер и стремление выделить альтернативные точки зрения в отношении прошлого нередко наталкиваются на «архивную амнистию» со стороны официальных институтов памяти и стоящих за ними властей. Как заявляет Д. Маккессон, активист и сооснователь платформы *Mapping Police Violence*, «мы легко можем представить себе, что федеральное правительство скажет, сколько миллиметров осадков выпало в сельской местности вокруг Миссури в 1800-е гг., но оно не способно предоставить надежную статистику о числе людей, убитых полицией в прошлом году, позволяющую также увидеть другие формы полицейского насилия, затрагивающие сообщества» (McKesson 2018: 49). Эту мысль развивает И. Либерманн, которая считает, что стихийно возникающие архивы *BLM* могли бы отражать не только отрицаемые на официальном уровне воспоминания, но и пролить свет на взаимосвязь между «архивной амнистией» и актуальной общественно-политической ситуацией (Liebermann 2021: 717). На наш взгляд, это утверждение справедливо и в отношении других сообществ отмены. Еще одной важной особенностью создаваемых цифровых архивов оказывается их международный, транснациональный характер, что позволяет делать коммеморации предметом общественных дискуссий, демонстрируя главное качество любого архива как института памяти – связывать прошлое и настоящее.

Наконец, еще одним понятием, которое могло бы более детально описать особенности коммемораций сообществ отмены, является геймификация. Оно

отсылает к целой сфере современной мемориальной культуры, где представления о прошлом могут формироваться посредством исторических видеоигр. Оставляя в стороне интересные дискуссии кибероптимистов и киберпессимистов о потенциале использования исторических видеоигр в современной мемориальной культуре, отметим лишь, что к настоящему моменту нам не удалось зафиксировать каких-либо значимых проявлений канселлинга или использования в интересах коммеморативных практик. Хотя представляется, что их специфические черты (симулятивность, интерактивность, контрфактуальный характер и так далее) могли бы успешно использоваться сообществами отмены. Более того, «плохие народы» или отдельные отрицательные персонажи не только не изгоняются из исторических видеоигр, но и продолжают оставаться важной частью сюжета. В то же время в последние годы стали появляться примеры канселлинга в отношении настольных игр, связанных с темой расизма и колониализма², а также игр, созданных по мотивам произведений Дж. Роулинг, ставшей объектом критики и обвинений в трансфобии³.

Выводы

Современные сообщества отмены являются формой общественных движений и конкурируют с другими акторами социального поля за участие в перераспределении символического капитала. Одним из значимых символических ресурсов при этом выступает обращение к историческим событиям и образам коллективной памяти, что превращает их в мнемонические сообщества.

В настоящей статье на основе анализа отдельных движений «культуры отмены», связанных с пересмотром образов прошлого, выделены основные особенности современных сообществ отмены: гипертрофированная идея протеста как идеологическая основа для деконструкции прошлого; конструирование преемственности с исторически маргинализированными группами; ключевая роль цифровых технологий в продвижении коммеморативных практик и мобилизации сторонников; практический характер коммемораций и способов выражения контрпамяти; транскультурный и транснациональный характер практик мемориальной культуры.

Обращение к результатам теоретических исследований представитель «третьей волны» *memory studies* дало основание говорить о существенном значении цифрового поворота в исследованиях памяти, что находит

² Olson J. Cancel Culture in Board Games // Cardboardempire. 05.03.2021. URL: <http://www.cardboardempire.blog/board-games/cancel-culture-in-board-games/>; Draper K. Should Board Gamers Play the Roles of Racists, Slavers and Nazis? // The New York Times. 01.08.2019. URL: <https://www.nytimes.com/2019/08/01/style/board-games-cancel-culture.html> (дата обращения: 05.07.2024).

³ Clark J. 'Harry Potter' Game Beats Cancel Culture, Becomes #1 Single Player Game Ever' on Twitch // Fox News. 10.02.2023. URL: <https://www.foxnews.com/media/harry-potter-game-beats-cancel-culture-becomes-1-single-player-game-ever-twitch> (дата обращения: 05.07.2024).

выражение в появлении новых типов мнемонических сообществ, где решающую роль играют не общие паттерны идентичности, а коннективные связи и взаимодействие посредством хештегов.

Использование ключевых концептов *digital memory studies* позволило выделить и проанализировать основные тенденции трансформации коммеморативных практик сообществ отмены. Первая тенденция заключается в том, что в условиях мобильности и особой темпоральности пространства цифровых взаимодействий эффект каждого акта канселлинга многократно усиливается, а коммеморации сообществ отмены могут многократно воспроизводиться, сохраняя свое присутствие в настоящем. Следующая важная тенденция – повышение роли индивидуального измерения коммеморативных практик и рост влияния мнемонического активизма. Третья тенденция проявляется в интернационализации коммеморативных практик сообществ отмены, что превращает даже незначительные акты канселлинга в транскультурные арены для обсуждения нарративов контрпамяти, которые по скорости распространения начинают превосходить традиционные институты памяти и их инструменты трансляции культурно-исторического опыта. Четвертой тенденцией является повышение роли латентных и пассивных форм участия в коммеморациях сообществ отмены, что еще больше размывает границы идентичности данных сообществ, повышая их ситуативность. Пятой тенденцией выступает активное формирование цифрового архива сообществ отмены и использование его как альтернативного института памяти, фокусирующегося на протестных формах репрезентации прошлого.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Ассман Я. 2004. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. Москва : Языки славянской культуры. 368 с.
- Бурдые П. 2017. Практический смысл. Санкт-Петербург : Алетейя. 560 с.
- Котунова О.В. 2022. Культура отмены: этический анализ // Вестник Московского университета. Серия 7: Философия. № 2. С. 92-106.
- Летняков Д.Э. 2021. Оспариваемое прошлое: к обоснованию плюралистического подхода к исторической памяти // Дискурс-Пи. Т. 18, № 2. С. 61-76. DOI 10.17506/18179568_2021_18_2_61
- Николаи Ф.В. 2018. «Третья волна» memory studies: культурная память между опытом и репрезентацией // Диалог со временем. № 63. С. 369-374.
- Павловский А.Ф., Миллер А.И. (ред.) 2023. Память в Сети: цифровой поворот в memory studies. Санкт-Петербург : Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге. 352 с.
- Русакова О.Ф. 2023. К вопросу о понятии «режим политики памяти» // Дискурс-Пи. Т. 20, № 1. С. 27-45. DOI 10.17506/18179568_2023_20_1_27
- Сафронова Ю.А. 2019. Историческая память: введение. Санкт-Петербург : Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге. 220 с.
- Adriaansen R.-J. 2024. Latent and Explicit Mnemonic Communities on Social Media: Studying Digital Memory Formation Through Hashtag Co-Occurrence Analysis // Memory, Mind & Media. Vol. 3. P. 1-21. DOI 10.1017/mem.2024.7

Bennett W.L., Segerberg A. 2012. The Logic of Connective Action: Digital Media and the Personalization of Contentious Politics // *Information, Communication & Society*. Vol. 15, iss. 5. P. 739-768. DOI 10.1080/1369118X.2012.670661

Borysovych O.V., Chaiuk T.A., Karpova K.S. 2020. Black Lives Matter: Race Discourse and the Semiotics of History Reconstruction // *Journal of History Culture and Art Research*. Vol. 9, iss. 3. P. 325-340. DOI 10.7596/taksad.v9i3.2768

Bosch T. 2017. Twitter Activism and Youth in South Africa: The Case of #RhodesMustFall // *Information, Communication & Society*. Vol. 20, iss. 2. P. 221-232. DOI 10.1080/1369118X.2016.1162829

Boyle J. 2013. Treading the Digital Turn: Mediated Form and Historical Meaning // *Journal for Early Modern Cultural Studies*. Vol. 13, iss. 4. P. 79-90. DOI 10.1353/jem.2013.0045

Edmonds P. 2021. Monuments on Trial: #BlackLivesMatter, 'Travelling Memory' and the Transcultural Afterlives of Empire // *History Australia*. Vol. 18, iss. 4. P. 801-822. DOI 10.1080/14490854.2021.1994862

Feindt D., Krawatzek F., Mehler D., Pestel F., Trimčev R. 2014. Entangled Memory: Toward a Third Wave in Memory Studies // *History & Theory*. Vol. 53, iss. 1. P. 24-44. DOI 10.1111/hith.10693

Flesher Fominaya C. 2014. Movement Culture as Habit(us): Resistance to Change in the Routinized Practices of Resistance // *Conceptualizing Culture in Social Movement Research* / ed. by B. Baumgarten, P. Daphi, P. Ullrich. Basingstoke : Palgrave Macmillan. P. 186-205.

Frassinelli P.P. 2018. Hashtags: #RhodesMustFall, #FeesMustFall and the Temporalities of the Meme Event // *Perspectives on Political Communication in Africa* / ed. by B. Mutsvairo, B. Karam. Cham : Springer International Publishing. P. 61-79.

Garde-Hansen J. 2011. *Media and Memory*. Edinburgh : Edinburgh University Press. 174 p.

Goodwin J., Jasper J.M., Polletta F. (eds.) 2001. *Passionate Politics: Emotions and Social Movements*. Chicago : University of Chicago Press. 320 p.

Gutman Y., Wüstenberg J. (eds.) 2023. *The Routledge Handbook of Memory Activism*. London : Routledge. 599 p.

Horst S.P. van der. 2021. The Matter of Anticolonial History – Remembering Indonesian Resistance to Dutch Empire in the Age of Black Lives Matter // EuroSEAS Conference. URL: <https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/handle/1887/> (дата обращения: 05.07.2024).

Hoskins A. 2011. 7/7 and Connective Memory: International Trajectories of Remembering in Post-Scarcity Culture // *Memory Studies*. Vol. 4, iss. 3. P. 269-280. DOI 10.1177/1750698011402570

Hoskins A. 2018. Memory of the Multitude: The End of Collective Memory // *Digital Memory Studies: Media Pasts in Transition* / ed. by A. Hoskins. New York ; London : Routledge. P. 93-114.

Hoskins A., Tulloch J. 2016. *Risk and Hyperconnectivity: Media and Memories of Neoliberalism*. Oxford : Oxford University Press. 344 p.

Hutton P.H. 2016. *The Memory Phenomenon in Contemporary Historical Writing*. New York : Palgrave Macmillan. 234 p.

Juris J.S. 2008. *Networking Futures: The Movements Against Corporate Globalization*. Durham ; London : Duke University Press. 400 p.

Kansteiner W. 2002. Finding Meaning in Memory: A Methodological Critique of Collective Memory Studies // *History and Theory*. Vol. 41, iss. 2. P. 179-197. DOI 10.1111/0018-2656.00198

Kirik A.M., Çentinkaya A., Kurşun A.K. 2021. Digital Activism in the Context of Social Movements: The Case of Change.org // *Digital Siege* / ed. by E. Karadoğan Doruk, S. Mengü, E. Ulusoy. Istanbul : Istanbul University Press. P. 297-325.

Kwoba B., Chantiluke R., Nkopo A. (eds.) 2018. Rhodes Must Fall: The Struggle to Decolonise the Racist Heart of Empire. London : Zed Books. 406 p.

Leyh M.B. 2020. Imperatives of the Present: Black Lives Matter and the Politics of Memory and Memorialization // *Netherlands Quarterly of Human Rights*. Vol. 38, iss. 4. P. 239-245. DOI 10.1177/0924051920967541

Liebermann Y. 2021. Born Digital: The Black Lives Matter Movement and Memory after the Digital Turn // *Memory Studies*. Vol. 14, iss. 4. P. 713-732. DOI 10.1177/1750698020959799

McKesson D. 2018. On the Other Side of Freedom: The Case for Hope. New York : New York Viking. 240 p.

Merrill S., Keightley E., Daphi P. (eds.) 2020. Social Movements, Cultural Memory and Digital Media: Mobilizing Mediated Remembrance. London : Palgrave Macmillan. 308 p.

Moss M. 2018. Memory Institutions, the Archive and Digital Disruption? // *Digital Memory Studies: Media Pasts in Transition* / ed. by A. Hoskins. New York ; London : Routledge. P. 245-270.

Ng E. 2022. *Cancel Culture: A Critical Analysis*. Cham : Palgrave Macmillan. 153 p.

Nicholson B. 2013. The Digital Turn // *Media History*. Vol. 19, iss. 1. P. 59-73. DOI 10.1080/13688804.2012.752963

Olick J. 2014. Reflections on the Undeveloped Relations Between Journalism and Memory Studies // *Journalism and Memory* / ed. by B. Zelizer, K. Tenenboim-Weinblatt. London : Palgrave Macmillan. P. 17-31.

Pesarini A., Panico C. 2021. From Colston to Montanelli: Public Memory and Counter-Monuments in the Era of Black Lives Matter // *From the European South*. Vol. 9. P. 99-113.

Picarella L. 2024. Intersections in the Digital Society: Cancel Culture, Fake News, and Contemporary Public Discourse // *Frontiers in Sociology*. Vol. 9. P. 1-6. DOI 10.3389/fsoc.2024.1376049

Polletta F. 2006. *It Was Like a Fever: Storytelling in Protest and Politics*. Chicago : University of Chicago Press. 256 p.

Reading A. 2014. Seeing Red: A Political Economy of Digital Memory // *Media, Culture & Society*. Vol. 36, iss. 6. P. 748-760. DOI 10.1177/0163443714532980

Rothberg M. 2009. *Multidirectional Memory: Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization*. Stanford : Stanford University Press. 380 p.

Sebeelo T. 2021. Hashtag Activism, Politics and Resistance in Africa: Examining #ThisFlag and #RhodesMustFall Online Movements // *Insight on Africa*. Vol. 13, iss. 1. P. 95-109. DOI 10.1177/0975087820971514

Smit R. 2022. Die Plattformisierung des Erinnerns // *Handbuch kommunikationswissenschaftliche Erinnerungsforschung* / herausg. von C. Pentzold, C. Lohnmeier. Berlin ; Boston : De Gruyter. S. 471-494.

Sutherland T. 2017. Archival Amnesty: In Search of Black American Transnational and Restorative Justice // *Journal of Critical Library and Information Studies*. Vol. 1, iss. 2. P. 1-23. DOI 10.24242/jclis.v1i2.42

Toruk I., Sari G., Nazli R.S. 2023. New Social Movements and Digital Activism // *Handbook of Research on Perspectives on Society and Technology Addiction* / ed. by R.S. Nazli, G. Sari, Hershey : IGI Global. P. 164-173.

Traversa M., Tian Y., Wright S.C. 2023. Cancel Culture Can Be Collectively Validating for Groups Experiencing Harm // *Frontiers in Psychology*. Vol. 14. P. 1-19. DOI 10.3389/fpsyg.2023.1181872

References

Adriaansen R.-J. Latent and Explicit Mnemonic Communities on Social Media: Studying Digital Memory Formation Through Hashtag Co-Occurrence Analysis, *Memory, Mind & Media*, 2024, vol. 3, pp. 1-21. DOI 10.1017/mem.2024.7

Assmann J. *Cultural Memory: Writing, Remembrance of the Past and Political Identity in Early High Cultures*, Moscow, Yazyki slavyanskoy kul'tury, 2004, 368 p. (In Russ.).

Bennett W.L., Segerberg A. The Logic of Connective Action: Digital Media and the Personalization of Contentious Politics, *Information, Communication & Society*, 2012, vol. 15, no. 5, pp. 739-768. DOI 10.1080/1369118X.2012.670661

Borysovych O.V., Chaiuk T.A., Karpova K.S. Black Lives Matter: Race Discourse and the Semiotics of History Reconstruction, *Journal of History Culture and Art Research*, 2020, vol. 9, no. 3, pp. 325-340. DOI 10.7596/taksad.v9i3.2768

Bosch T. Twitter Activism and Youth in South Africa: The Case of #RhodesMustFall, *Information, Communication & Society*, 2017, vol. 20, no. 2, pp. 221-232. DOI 10.1080/1369118X.2016.1162829

Bourdieu P. *Practical Sense*, Saint Petersburg, Aleteyya, 2017, 560 p. (In Russ.).

Boyle J. Treading the Digital Turn: Mediated Form and Historical Meaning, *Journal for Early Modern Cultural Studies*, 2013, vol. 13, no. 4, pp. 79-90. DOI 10.1353/jem.2013.0045

Edmonds P. Monuments on Trial: #BlackLivesMatter, 'Travelling Memory' and the Transcultural Afterlives of Empire, *History Australia*, 2021, vol. 18, no. 4, pp. 801-822. DOI 10.1080/14490854.2021.1994862

Feindt D., Krawatzek F., Mehler D., Pestel F., Trimčev R. Entangled Memory: Toward a Third Wave in Memory Studies, *History & Theory*, 2014, vol. 53, no. 1, pp. 24-44. DOI 10.1111/hith.10693

Flesher Fominaya C. Movement Culture as Habit(us): Resistance to Change in the Routinized Practices of Resistance, *Baumgarten B., Daphi P., Ullrich P. (eds.) Conceptualizing Culture in Social Movement Research*, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2014, pp. 186-205.

Frassinelli P.P. Hashtags: #RhodesMustFall, #FeesMustFall and the Temporalities of the Meme Event, *Mutsvairo B., Karam B. (eds.) Perspectives on Political Communication in Africa*, Cham, Springer International Publishing, 2018, pp. 61-79.

Garde-Hansen J. *Media and Memory*, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2011, 174 p.

Goodwin J., Jasper J.M., Polletta F. (eds.) *Passionate Politics: Emotions and Social Movements*, Chicago, University of Chicago Press, 2001, 320 p.

Gutman Y., Wüstenberg J. (eds.) *The Routledge Handbook of Memory Activism*, London, Routledge, 2023, 599 p.

Horst S.P. van der. The Matter of Anticolonial History – Remembering Indonesian Resistance to Dutch Empire in the Age of Black Lives Matter, *EuroSEAS Conference*, 2021, available at: <https://scholarlypublications.universiteitileiden.nl/handle/1887/> (accessed July 5, 2024).

Hoskins A. 7/7 and Connective Memory: International Trajectories of Remembering in Post-Scarcity Culture, *Memory Studies*, 2011, vol. 4, no. 3, pp. 269-280. DOI 10.1177/1750698011402570

Hoskins A. Memory of the Multitude: The End of Collective Memory, *Hoskins A. (ed.) Digital Memory Studies: Media Pasts in Transition*, New York & London, Routledge, 2018, pp. 93-114.

Hoskins A., Tulloch J. *Risk and Hyperconnectivity: Media and Memories of Neoliberalism*, Oxford, Oxford University Press, 2016, 344 p.

Hutton P.H. *The Memory Phenomenon in Contemporary Historical Writing*, New York, Palgrave Macmillan, 2016, 234 p.

Juris J.S. *Networking Futures: The Movements Against Corporate Globalization*, Durham & London, Duke University Press, 2008, 400 p.

Kansteiner W. Finding Meaning in Memory: A Methodological Critique of Collective Memory Studies, *History and Theory*, 2002, vol. 41, no. 2, pp. 179-197. DOI 10.1111/0018-2656.00198

Kirik A.M., Çentinkaya A., Kurşun A.K. Digital Activism in the Context of Social Movements: The Case of Change.org, *Karadoğan Doruk E., Mengü S., Ulusoy E. (eds.) Digital Siege*, Istanbul, Istanbul University Press, 2021, pp. 297-325.

Kotunova O.V. Cancel Culture: Ethical Analysis, *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 7: Filosofiya* [Moscow University Bulletin. Series 7: Philosophy], 2022, no. 2, pp. 92-106. (In Russ.).

Kwoba B., Chantiluke R., Nkopo A. (eds.) *Rhodes Must Fall: The Struggle to Decolonise the Racist Heart of Empire*, London, Zed Books, 2018, 406 p.

Letnyakov D.E. Contested Past: On Substantiation of a Pluralistic Approach to Historical Memory, *Diskurs-Pi* [Discourse-P], 2021, vol. 18, no. 2, pp. 61-76. (In Russ.). DOI 10.17506/18179568_2021_18_2_61

Leyh M.B. Imperatives of the Present: Black Lives Matter and the Politics of Memory and Memorialization, *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 2020, vol. 38, no. 4, pp. 239-245. DOI 10.1177/0924051920967541

Liebermann Y. Born Digital: The Black Lives Matter Movement and Memory after the Digital Turn, *Memory Studies*, 2021, vol. 14, no. 4, pp. 713-732. DOI 10.1177/1750698020959799

McKesson D. *On the Other Side of Freedom: The Case for Hope*, New York, New York Viking, 2018, 240 p.

Merrill S., Keightley E., Daphi P. (eds.) *Social Movements, Cultural Memory and Digital Media: Mobilizing Mediated Remembrance*, London, Palgrave Macmillan, 2020, 308 p.

Moss M. Memory Institutions, the Archive and Digital Disruption? *Hoskins A. (ed.) Digital Memory Studies: Media Pasts in Transition*, New York & London, Routledge, 2018, pp. 245-270.

Ng E. *Cancel Culture: A Critical Analysis*, Cham, Palgrave Macmillan, 2022, 153 p.

Nicholson B. The Digital Turn, *Media History*, 2013, vol. 19, no 1, pp. 59-73. DOI 10.1080/13688804.2012.752963

Nikolai F.V. "Third Wave" of Memory Studies: Cultural Memory Between Experience and Representation, *Dialog so vremenem* [Dialogue with Time], 2018, no. 63, pp. 369-374. (In Russ.).

Olick J. Reflections on the Undeveloped Relations between Journalism and Memory Studies, *Zelizer B., Tenenboim-Weinblatt K. (eds.) Journalism and Memory*, London, Palgrave Macmillan, 2014, pp. 17-31.

Pavlovsky A.F., Miller A.I. (eds.) *Memory on the Web: The Digital Turn in Memory Studies*, Saint Petersburg, Izdatel'stvo Evropeyskogo universiteta v Sankt-Peterburge, 2023, 352 p. (In Russ.).

Pesarini A., Panico C. From Colston to Montanelli: Public Memory and Counter-Monuments in the Era of Black Lives Matter, *From the European South*, 2021, vol. 9, pp. 99-113.

Picarella L. Intersections in the Digital Society: Cancel Culture, Fake News, and Contemporary Public Discourse, *Frontiers in Sociology*, 2024, vol. 9, pp. 1-6. DOI 10.3389/fsoc.2024.1376049

Polletta F. *It Was Like a Fever: Storytelling in Protest and Politics*, Chicago, University of Chicago Press, 2006, 256 p.

Reading A. Seeing Red: A Political Economy of Digital Memory, *Media, Culture & Society*, 2014, vol. 36, no. 6, pp. 748-760. DOI 10.1177/0163443714532980

Rothberg M. *Multidirectional Memory: Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization*, Stanford, Stanford University Press, 2009, 380 p.

Rusakova O.F. On the Issue of the Concept of "Regime of Memory Politics": Methodological Analysis, *Diskurs-Pi* [Discourse-P], 2023, vol. 20, no. 1, pp. 27-45. (In Russ.). DOI 10.17506/18179568_2023_20_1_27

Safronova Yu.A. *Historical Memory: Introduction*. Saint Petersburg, Izdatel'stvo Evropeyskogo universiteta v Sankt-Peterburge, 2019, 220 p. (In Russ.).

Sebeelo T. Hashtag Activism, Politics and Resistance in Africa: Examining #ThisFlag and #RhodesMustFall Online Movements, *Insight on Africa*, 2021, vol. 13, no. 1, pp. 95-109. DOI 10.1177/0975087820971514

Smit R. Die Plattformisierung des Erinnerns [The Platformization of Memory], Pentzold C., Lohnmeier C. (eds.) *Handbuch kommunikations-wissenschaftliche Erinnerungsforschung* [Handbook of Communication Memory Studies], Berlin & Boston, De Gruyter, 2022, pp. 471-494. (In German).

Sutherland T. Archival Amnesty: In Search of Black American Transnational and Restorative Justice, *Journal of Critical Library and Information Studies*, 2017, vol. 1, no. 2, pp. 1-23. DOI 10.24242/jclis.v1i2.42

Toruk I., Sari G., Nazli R.S. New Social Movements and Digital Activism, Nazli R.S., Sari G. (eds.) *Handbook of Research on Perspectives on Society and Technology Addiction*, Hershey, IGI Global, 2023, pp. 164-173.

Traversa M., Tian Y., Wright S.C. Cancel Culture Can Be Collectively Validating for Groups Experiencing Harm, *Frontiers in Psychology*, 2023, vol. 14, pp. 1-19. DOI 10.3389/fpsyg.2023.1181872

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Андрей Александрович Линченко

кандидат философских наук, научный сотрудник Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; доцент Липецкого государственного технического университета, г. Липецк, Россия;

ORCID: 0000-0001-6242-8844;

ResearcherID: R-4905-2016;

Scopus AuthorID: 56626090600;

SPIN-код: 2501-3469;

E-mail: linchenko1@mail.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Andrei A. Linchenko

Candidate of Philosophy, Researcher, Lipetsk Branch of the Financial University under the Government of Russian Federation; Associate Professor, Lipetsk State Technical University, Lipetsk, Russia;

ORCID: 0000-0001-6242-8844;

ResearcherID: R-4905-2016;

Scopus AuthorID: 56626090600;

SPIN-code: 2501-3469;

E-mail: linchenko1@mail.ru

Елена Владимировна Трутенко

лаборант философского факультета Томского государственного университета, г. Томск, Россия; студент Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации,

г. Липецк, Россия;

ORCID: 0009-0006-1038-5532;

SPIN-код: 9503-9007;

E-mail: shiboko@yandex.ru

Elena V. Trutenko

Laboratory Assistant, Faculty of Philosophy, Tomsk State University, Tomsk, Russia; Student, Lipetsk Branch of the Financial University under the Government of Russian Federation,

Lipetsk, Russia;

ORCID: 0009-0006-1038-5532;

SPIN-code: 9503-9007;

E-mail: shiboko@yandex.ru



Туркин И.А. «Культура отмены» как инструмент борьбы режимов мнемонической безопасности // Антиномии. 2024. Т. 24, вып. 3. С. 101-114. https://doi.org/10.17506/26867206_2024_24_3_101

УДК 327

DOI 10.17506/26867206_2024_24_3_101

«Культура отмены» как инструмент борьбы режимов мнемонической безопасности

Илья Андреевич Туркин

Томский государственный университет

г. Томск, Россия

E-mail: ilya.turkin2001@gmail.com

Поступила в редакцию 14.06.2024, поступила после рецензирования 31.07.2024, принята к публикации 06.09.2024

Целью статьи является выявление специфики «культуры отмены» в контексте политики памяти. Для достижения данной цели ставятся следующие исследовательские задачи: а) теоретически обосновать использование понятия «режим мнемонической безопасности» в качестве инструмента анализа «культуры отмены» как новой формы социального ostracism; б) рассмотреть функционирование режимов мнемонической безопасности в условиях цифровизации. На основе анализа научной литературы по режимам памяти и теории международных режимов автор статьи определяет режим мнемонической безопасности как политический проект, включающий символы прошлого и основывающийся на формальных и неформальных институтах, которые ограничивают действия акторов для достижения долгосрочного блага. Подчеркивается, что на фоне осыпания «глобальной» мемориальной культуры доминируют антагонистические режимы мнемонической безопасности, а ключевым инструментом борьбы альтернативных проектов прошлого становится «культура отмены». Выделяются характерные черты современной реальности, влияющие на трансформацию образов прошлого и появление «культуры отмены». Во-первых, конфликт «старых» и «новых» режимов мнемонической безопасности. Во-вторых, отсутствие у акторов ресурсов для установления своего режима мнемонической безопасности в качестве всеобщего. В-третьих, отказ от делиберации в пользу конфликта как способа разрешения противоречий. Также в статье анализируется специфика функционирования режимов мнемонической безопасности в условиях цифровизации. Выявляются ключевые стратегии сохранения своего и маргинализации чужого режима мнемонической безопасности – апелляция к справедливости и апелляция к исторической правде. Делается вывод о том, что характерными чертами современного мемориального дискурса выступают атомарность и конфликтность.



© Туркин И.А., 2024

Ключевые слова: политика памяти, мемориальный дискурс, режим мнемонической безопасности, режим памяти, режим безопасности, политический проект, конфликт, «культура отмены», цифровизация

Благодарности: Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-18-00465, <https://rscf.ru/project/23-18-00465/>

Cancel Culture as a Tool in the Struggle of Mnemonic Security Regimes

Ilya A. Turkin

Tomsk State University

Tomsk, Russia

E-mail: ilya.turkin2001@gmail.com

Received 14.06.2024, revised 31.07.2024, accepted 06.09.2024

Abstract. The purpose of this article is to identify the specifics of cancel culture in the context of politics of memory. To achieve this, the author addresses the following objectives: a) to theoretically justify the use of the concept of “mnemonic security regime” as a tool for analyzing cancel culture as a new form of social ostracism, b) to examine the functioning of mnemonic security regimes in the context of digitalization. Based on an analysis of scientific literature on memory regimes and international regime theories, the author concludes that a mnemonic security regime is a political project incorporating symbols of the past, built on formal and informal institutions that limit the actions of actors to achieve long-term good. It is emphasized that in the context of the decline of “global” memory culture, antagonistic mnemonic security regimes dominate, with cancel culture becoming a key tool in the struggle between alternative projects of the past. The article highlights several features of modern reality that influence the transformation of images of the past and the rise of cancel culture. First, the conflict between “old” and “new” mnemonic security regimes. Second, the lack of resources for actors to establish their mnemonic security regime as universally accepted. Third, the rejection of deliberation and the choice of conflict as a way to resolve contradictions. The article also examines the specifics of functioning of mnemonic security regimes in the context of digitalization. It identifies key strategies for maintaining one’s own mnemonic security regime while marginalizing others, including appeals to justice and to historical truth. The study concludes that atomization and conflict are defining characteristics of modern memorial discourse.

Keywords: politics of memory, memorial discourse, mnemonic security regime, memory regime, security regime, political project, conflict, cancel culture, digitalization

Acknowledgments: The research was carried out with the support of the Russian Science Foundation grant No. 23-18-00465, <https://rscf.ru/en/project/23-18-00465/>

For citation: Turkin I.A. Cancel Culture as a Tool in the Struggle of Mnemonic Security Regimes, *Antinomies*, 2024, vol. 24, iss. 3, pp. 101-114. (In Russ.). https://doi.org/10.17506/26867206_2024_24_3_101

Введение

«Глобальная» мемориальная культура долгое время держалась на трех столпах: обязанность разобраться с прошлым, обязанность помнить, справедливость для жертв. Эти принципы организации памяти основывались на уникальном опыте проработки прошлого Германией. Однако этот опыт, как выяснилось, не учитывает память за пределами Европы и плохо применим для остальных государств. Сегодня на наших глазах происходит отказ от «нюрнбергского консенсуса» и осыпание «глобальной» мемориальной культуры (Миллер 2024). Это выражается в том, что ключевой категорией для описания взаимодействия разных режимов памяти является конфликт. Исследователи все чаще говорят о секьюритизации памяти, дилемме мнемонической безопасности и войнах памяти (Mälksoo 2015; Севастьянова, Ефременко 2020; Аникин, Линченко 2021; Батищев 2021; Аникин, Конаков 2022; Ефременко 2022; Илларионов, Мосиенко 2023).

Одним из проявлений конфликтности в области политики памяти выступает «культура отмены». И хотя ее отдельные механизмы уже имели место в истории, специфика современной ситуации заключается в их объединении в новое явление. Это в значительной степени обусловлено закреплением во многих государствах массовой демократии в качестве главного легитимирующего института и развитием цифровых технологий. Первый фактор повысил значимость этических компонентов в политике; второй, расширив возможности коммуникации между акторами, активизировал мемориальный дискурс.

В настоящей статье «культура отмены» рассматривается как социально-политическая технология (Щенина 2023). Такой подход позволяет включить в орбиту исследования множество практик канселлинга: цифровой бойкот, публичное отстранение от объекта отмены, массовая критика в социальных сетях, призывы к использованию административного ресурса для исключения объекта отмены из публичного поля и т.д. С этой точки зрения «культура отмены» выступает одной из форм социального ostracism, которая отличается, например, от физической расправы над оппонентом тем, что направлена в первую очередь на ограничение доступа объекта отмены к дискурсу посредством символического насилия и мобилизации сторонников.

«Культура отмены» – сложный и противоречивый феномен. С одной стороны, многие ее кейсы рассматриваются в качестве дисфункционального механизма, связанного с искажением смысла, агрессией и манихейским взглядом на мир (Шураева, Коринец 2022). С другой стороны, она интерпретируется как реакция на нарушение норм и правил определенного общества (Дериглазова, Погорельская 2023). На наш взгляд, следует отказаться от рассмотрения данного феномена с одной нормативной позиции и анализировать его диалектически.

Цель статьи заключается в выявлении специфики «культуры отмены» в контексте политики памяти. Для достижения поставленной цели представляется необходимым решить следующие исследовательские задачи:

а) теоретически обосновать использование понятия «режим мнемонической безопасности» в качестве инструмента анализа «культуры отмены» как новой формы социального остракизма; б) охарактеризовать функционирование режимов мнемонической безопасности в условиях цифровизации.

Концептуальная рамка исследования

В настоящей статье политика памяти понимается как деятельность государства и других акторов, направленная на утверждение тех или иных представлений о коллективном прошлом и формирование поддерживающей их культурной инфраструктуры, образовательной политики, а в некоторых случаях и законодательного регулирования (Малинова 2019). Представления о коллективном прошлом появляются в результате «сборки» политических проектов, имеющих своей целью репрезентацию определенной версии истории и борьбу за доминирование в публичном пространстве.

Политические проекты прошлого являются не предзаданными, а выступают результатом борьбы за значение означающего. Их цель – завоевание гегемонистского положения в дискурсе (Laclau, Mouffe 2001). Любой такой проект стремится представить себя в качестве единственного, непротиворечивого и полного, поскольку это позволяет претендовать на позицию объективной истины. Но социальная реальность состоит из партикулярностей, которые не позволяют «сборке» замкнуться в тотальность, оставляя тем самым пространство для политической борьбы и постоянного изменения границ идентичности.

Акторы проводят конструирование политических проектов прошлого, претендующих на единственную интерпретацию социальной реальности. Борьба между ними продолжается до тех пор, пока определенная позиция не принимается всеми сторонами конфликта, который может решаться антагонистическим или синергетическим способом¹.

Анализ этих процессов мы предлагаем осуществить через режим мнемонической безопасности. В целях концептуализации разобьем словосочетание на две части – режим памяти и режим безопасности. Эти концепты разрабатывались в разных контекстах и для разных целей, но оба направлены на изучение режимов в качестве определенных институтов, цель которых заключается в стабилизации сети.

Понятие «режим памяти» довольно часто используется при изучении политики памяти, однако концептуализировано слабо. М. Бернхард и Я. Кубик определяют его как доминирующую модель политики памяти, существующую в данный момент в отношении конкретного события в прошлом или процесса, имеющего важные последствия (Kubik, Bernhard 2014). Данную методологию на практике применил, например, И.А. Ушпаров, показав, что в Кабардино-Балкарии сформировался раздробленный режим памяти (Ушпаров 2023).

¹Более подробно см.: (Невзоров 2017).

Особо выделим статью О.Ю.Малиновой «Режим памяти как инструмент анализа: проблемы концептуализации». В работе отмечается, что режимы памяти: 1) формируются по отношению к какому-либо историческому событию, то есть направлены на создание биографии группы; 2) конструируются посредством интеракции между акторами, которые артикулируют различные нарративы о прошлом; 3) представляют собой «идеационные структуры»; 4) описывают доминирование одних версий памяти о событиях и маргинализируют другие; 5) отличаются динамичностью (Малинова 2020).

Таким образом, режим памяти рассматривается как дискурсивный конструкт в антагонистической структуре конфликта, который складывается в результате символического насилия одних акторов над другими.

Понятие «режим безопасности» разрабатывалось в первую очередь с опорой на теорию рационального выбора. Мы считаем такой подход слишком узким: акторы, ответственные за принятие политических решений, основываются не столько на рациональности, сколько на убеждениях и нарративах, которые действуют в качестве шаблонов для анализа. Эти шаблоны помогают политикам ориентироваться в социальной реальности, а следовательно, предсказывать поведение других государств на международной арене и, исходя из этого, корректировать свое поведение (Shariro, Bonham 1973).

Также понятие «режим безопасности» разрабатывалось в рамках теории международных режимов. Ее представители считают, что утверждения об анархичности системы международных отношений преувеличены. Анархия существует, но может быть ограничена посредством связывания акторов взаимными обязательствами, формирующими долгосрочное благо. Соблюдение достигнутых договоренностей будет приносить ясность во взаимодействие до того момента, пока действуют сами режимы.

Р. Джервис полагает, что режим безопасности основывается на формальных институтах, и определяет его как принципы, правила и нормы, которые позволяют государствам ограничивать свое поведение и быть уверенными в том, что другие поступят так же (Jervis 1982). Для объяснения своей концепции автор использует так называемую дилемму заключенного, исходя из которой эгоистичное поведение, направленное на получение краткосрочной выгоды, является проигрышной стратегией. Режим безопасности предполагает такое сотрудничество, при котором акторы понимают, что на краткосрочной дистанции они могут что-то потерять, но в долгосрочной перспективе получают намного больше. Р. Джервис признает, что формирование режима безопасности является крайне трудоемкой работой, которая успешна в небольшом проценте случаев. В качестве примера режима безопасности он рассматривает Венскую систему международных отношений, когда после Наполеоновских войн европейские державы выработали единые принципы сосуществования и подавления революций. Анализ ситуации на международной арене в 80-е гг. XX в. позволяет автору сделать вывод о том, что советско-американские отношения не могут рассматриваться в качестве режима безопасности, поскольку, во-первых,

большинство соглашений связаны с личными интересами акторов; во-вторых, регулирующие прецеденты не являются ни конвенциональными, ни обязательными; в-третьих, они игнорируются сторонами при первой же возможности (Jervis 1982).

Однако анализ исключительно формальных институтов не позволяет корректно определить процессы принятия решений при артикуляции политического проекта, поскольку в этом случае упускаются другие значимые акторы в структуре конфликта. Для концептуализации режима мнемонической безопасности обратимся к подходу, разработанному Ст. Краснером. Он рассматривает международные режимы как «неявные или явные принципы, нормы, правила и процедуры принятия решений, вокруг которых сходятся ожидания акторов в данной области международных отношений» (Krasner 1982: 186). По мнению автора, из-за чрезмерно узкой трактовки режима безопасности Р. Джервис упускает из виду многие факторы международных отношений, которые позволяют институционализировать конфликт. Ст. Краснер приравнивает международные режимы к режимам безопасности: в процессе интеракции государства ограничивают свои действия в первую очередь не посредством формальных договоренностей, а с помощью неформальных институтов, которые регулируют действия акторов для достижения долгосрочного блага. Для существования режима акторы должны ощущать определенное чувство общности, которое и формирует долгосрочное благо, а также создает стимулы для межгосударственного сотрудничества.

Подведем промежуточные итоги. Изучение режимов мнемонической безопасности является новым направлением в исследовании политики памяти. Этот концепт выступает зонтичным для двух других понятий – режим памяти и режим безопасности. Исходя из этого, мы определяем режим мнемонической безопасности как *политический проект, включающий символы прошлого и основывающийся на формальных и неформальных институтах, которые ограничивают действия акторов для достижения долгосрочного блага*. В текущих условиях осыпания «глобальной» мемориальной культуры и пересборки социальной реальности доминируют антагонистические режимы мнемонической безопасности.

Режим мнемонической безопасности может действовать на нескольких уровнях: макроуровень (международные отношения), мезоуровень (государство), микроуровень (группа). При этом каждый режим стремится стать универсальным, перейти на макроуровень. В прошлом такой переход был затруднен в связи с низкой скоростью информационно-коммуникационных актов. Благодаря развитию Интернета любая группа может представлять свою частную позицию как всеобщую, увеличивая тем самым количество режимов мнемонической безопасности и усиливая конкуренцию между политическими проектами. «Культура отмены» является одним из главных инструментов в этом процессе, поскольку позволяет за короткий промежуток времени мобилизовать сторонников против конкурентной сети, поддерживающей другой режим мнемонической безопасности.

Итак, режим мнемонической безопасности формируется вокруг долгосрочного блага, которое необходимо защищать. Ключевым благом выступает идентичность сообщества. А поскольку конфликт исторических нарративов – это один из факторов применения насилия, но не сама причина, именно «культура отмены», на наш взгляд, является ключевой технологией сохранения или уничтожения режима мнемонической безопасности.

Режимы мнемонической безопасности в условиях цифровизации

Современный мир проходит точку бифуркации, отличающуюся хаотизацией и многовекторностью дальнейшего развития. Состояние международной среды описывается как «асинхронная многополярность», которая характеризуется разной скоростью адаптации этой среды к многополярности и отсутствием четкой иерархии (Барабанов и др. 2023). Эти процессы отражаются на всех сторонах политики. Если после окончания холодной войны доминировали оптимистичные ожидания, что в области политики памяти будет превалировать диалог, то сегодня они кажутся утопией. То же самое касается цифрового оптимизма: наблюдается рост опасений по поводу нового авторитаризма, цифровой слежки, роста влияния «негражданского общества» (Волкова, Лукьянова, Мартыанов 2021).

В этой связи необходимо обратить внимание на новые вызовы и угрозы, которые возникают вследствие почти повсеместного распространения Интернета. Цифровизация представляет собой настолько масштабное явление, что кардинально меняет сознание людей (Городецкий 2023). Раньше коммуникация осуществлялась через такие средства массовой информации, как газеты, радио, телевидение, которые отличались пользовательской пассивностью (потребитель был минимально вовлечен в процесс создания и распространения информации). Сегодня растет значимость новых медиа, а значит, роль мемориального дискурса в цифровом пространстве. Как отмечают исследователи, развитие Интернета стало для *memory studies* событием, которое четко разделило «до» и «после» (Hoskins 2017).

Цифровое пространство создает новые формы памяти. Например, мы можем зафиксировать разрыв между «аналоговым» и «цифровым» поколениями. Одним из продуктов данного разрыва является трансформация памяти. При этом происходящие изменения совмещают в себе две разнонаправленные тенденции – синкретизм и динамичную целостность (Саймонс и др. 2019). Шаткое единство этих разрозненных состояний обеспечивается скоростью информационных потоков, которые позволяют актерам не замечать постоянных разрывов в нарративе, поскольку он непрерывно трансформируется.

Кроме того, в условиях цифровизации существенно усилился голос миноритарных групп. Одним из инструментов пересборки их идентичности выступает «культура отмены». Апелляция к травматичному прошлому свидетельствует о нарастании процессов трансформации коллективных идентичностей. В результате обостряются конфликты между «старыми»

и «новыми» политическими проектами. Новые медиа становятся площадкой для реорганизации дискурсивного пространства, выступая тем самым основой для создания новых идентичностей (Котунова 2024).

Следует отметить, что если изначально «культура отмены» ассоциировалась преимущественно с левыми политическими силами, которые успешно мобилизовали своих сторонников в социальных сетях, то сегодня к использованию данной технологии прибегает все большее число акторов. Так, например, исследователи отмечают роль гражданского общества в инициировании отмены отдельных лиц, брендов и медиатекстов в КНР. Это вызвано особенностями китайского цифрового национализма, который предполагает, что после «столетия унижений» нельзя допускать, чтобы иностранцы очерняли образ страны (Ng 2022). Также отметим масштабную отмену публичных лиц в России, выступивших против специальной военной операции на Украине, и попытки отмены русской культуры на Западе. Это проявляется в том, что объектам отмены отказывается в возможности влияния на публичный дискурс.

Выделим характерные черты современной реальности, влияющие на трансформацию образов прошлого и появление «культуры отмены».

Конфликт «старых» и «новых» режимов мнемонической безопасности. Новые движения благодаря развитию цифровых технологий усилили свой голос и тем самым утратили статус субальтернов. Несмотря на пафос деколонизации или сексуальной революции, классические средства массовой информации выступали в роли «привратников» (gatekeepers) для доступа к публичному дискурсу. Развитие новых медиа позволило гораздо более эффективно продвигать альтернативное видение истории, вступая в конфликт с классическими проектами прошлого. Акторы, входящие в «старые» сети режимов мнемонической безопасности, вынуждены защищать свои нарративы. Сформировалась антагонистическая структура, не имеющая общего пространства для диалога.

Отсутствие ресурсов для установления своего режима мнемонической безопасности в качестве всеобщего. Наличие альтернативных режимов мнемонической безопасности не является основанием для прямого физического насилия с целью навязывания своей интерпретации социальной реальности. Поэтому акторы вынуждены конструировать закрытые нарративы, которые не направлены на интеракцию с остальными. Для этого создаются так называемые мнемонические воины (mnemonic warriors), задача которых – закрепить определенную интерпретацию прошлого (Kubik, Bernhard 2014).

Отказ от делиберации в пользу конфликта как способа разрешения противоречий. Конфликт нарративов и отсутствие общего диалогового поля приводят к тому, что память о прошлом все чаще воспринимается как то, что необходимо защищать для продолжения существования группы. Поэтому оспаривание памяти со стороны других акторов запускает алгоритм дилеммы мнемонической безопасности (Севастьянова, Ефременко 2020; Ефременко 2022). Это влечет за собой «застывание» нарративов внутри режимов мнемонической безопасности и не позволяет начать диалог

об изменении позиций внутри структуры конфликта. При этом следует отметить, что отказ от делиберации – симптом возвращения политического в политику. Делиберативная политика является способом предвосхищения и преодоления политического события (Савин 2023). Если в политике доминирует антагонизм, это значит, что противоречия между сообществами вышли на столь серьезный уровень, что могут быть разрешены не благодаря коммуникативному акту, а лишь посредством гегемонистской интервенции, то есть аннигиляции одной идентичности в пользу другой.

Поскольку сегодня доминируют антагонистические структуры конфликта, необходимо рассмотреть ключевые стратегии «культуры отмены». В их основании лежат определенные этические принципы, которые и позволяют режимам безопасности претендовать на позицию всеобщности.

Первая стратегия представляет собой *апелляцию к справедливости*. Она черпает свою легитимность из воображаемого прошлого, которое станет справедливым после наказания всех угнетателей. В рамках данной стратегии происходит «позитивная эссенциализация», когда угнетаемые онтологически имеют приоритетный статус в сравнении с угнетателями. Поэтому технология «культуры отмены» зачастую предполагает, что объект канселлинга оказывается виновным априори, без процедуры доказывания вины.

Это «стратегия нападения» новых идентичностей для установления своего режима мнемонической безопасности в качестве всеобщего. Например, антирасистские протесты часто направлены на борьбу с памятниками, которые закрепили в качестве национальных героев целый ряд исторических личностей. Главный аргумент заключается в том, что они являются воплощением расистской эпохи. Протесты приводят к столкновениям как с защитниками памятников (которые тоже могут маркироваться как расисты), так и с полицией. Ключевой причиной агрессии разных групп по отношению друг к другу является излишняя политизация проблемы, что делит сообщества по принципу «друг – враг». Актеры, придерживающиеся данной стратегии, во-первых, маркируют себя на дискурсивном уровне как авангард мировой истории, борющийся с последним оплотом реакции; во-вторых, рассматривают свои нарративы в качестве единственно возможных и универсальных; в-третьих, обозначают противоборствующие нарративы и группы как «варварские».

Вторую стратегию можно охарактеризовать как *апелляцию к исторической правде*. Она черпает свою легитимность из воображаемого прошлого, которое закреплено в моменте единственности и объективности. С этой точки зрения актору необходимо отстаивать память предков, чтобы противостоять историческим спекуляциям, направленным на разрушение идентичности группы. Такая стратегия используется в первую очередь государствами в целях консолидации общества и минимизации внешнего влияния.

Это «стратегия защиты» в целях сохранения доминирующего режима мнемонической безопасности. Так, например, одним из условий вступления Польши и стран Прибалтики в Евросоюз была «проработка

коммунистического прошлого», то есть фактически отказ от него. В этих странах утвердился нарратив о двух системах тоталитаризма, согласно которому Советский Союз и нацистская Германия одинаково виновны в начале Второй мировой войны, а государства Восточной Европы являются жертвами агрессии. Это позволило принявшим его странам стать частью Евросоюза, несмотря на невыполнение экономических условий. Следовательно, можно говорить о том, что определенный способ интерпретации прошлого стал основным символическим ресурсом и фундаментом идентичности целых государств. Это привело к усилению конфликтов как внутри стран Восточной Европы, так и между ними и Россией, которая стала главным мнемоническим актором, защищающим ключевую роль Советского Союза в победе над нацизмом.

Выводы

Цель работы заключалась в выявлении специфики «культуры отмены» в контексте политики памяти. В ходе исследования получен ряд научных результатов.

Дано определение режиму мнемонической безопасности как политическому проекту, включающему символы прошлого и основывающемуся на формальных и неформальных институтах, которые ограничивают действия акторов для достижения долгосрочного блага.

Установлено, что в условиях международного кризиса системы международной безопасности доминируют антагонистические режимы мнемонической безопасности, усиливая борьбу различных политических проектов прошлого. Поскольку у акторов нет возможности сделать свой режим всеобщим, ключевым инструментом сохранения своего и маргинализации чужого режима мнемонической безопасности становится «культура отмены».

Охарактеризовано влияние цифровизации на режим мнемонической безопасности. Процессы цифровизации усилили голос миноритарных групп, которые стали активно использовать Интернет как площадку для продвижения своих проектов прошлого. На это последовала реакция «старых» мнемонических акторов, которые также стали применять технологии «культуры отмены» для сохранения своих нарративов.

Определены черты, влияющие на трансформацию образов прошлого и появление «культуры отмены»: конфликт «старых» и «новых» режимов мнемонической безопасности; отсутствие ресурсов для установления своего режима мнемонической безопасности в качестве всеобщего; отказ от де-libерации в пользу конфликта как способа разрешения противоречий.

Выделены ключевые стратегии «культуры отмены» – апелляция к справедливости и апелляция к исторической правде. Первой стратегии придерживаются миноритарные группы и политические партии, стремящиеся заручиться их поддержкой. Вторая стратегия характерна в первую очередь для государств, перед которыми встает дилемма мнемонической безопасности, обусловленная тем, что нарративы, на которых строится на-

циональная идентичность, регулярно оспариваются другими акторами международных отношений.

Таким образом, характерными чертами современного мемориального дискурса выступают атомарность и конфликтность. Если «нюнбергский консенсус» предполагал связывание общей памятью множества акторов в единую сеть, то сегодня она распадается, и на смену ей должно прийти что-то новое.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Аникин Д.А., Конаков Д.Н. 2022. Секьюритизация прошлого в условиях общества риска: социально-философский анализ // Социодинамика. № 10. С. 20-29. DOI 10.25136/2409-7144.2022.10.39128

Аникин Д.А., Линченко А.А. 2021. Мемориальные войны в условиях восточно-европейского фронта: в поисках методологии исследования // Вестник Томского государственного университета. № 466. С. 55-63. DOI 10.17223/15617793/466/6

Барабанов О.Н., Бордачев Т.В., Лукьянов Ф.А., Сушенцов А.А., Тимофеев И.Н. 2023. Аттестат зрелости, или Порядок, какого еще не было. Фантазии о будущем без иерархии // Международный дискуссионный клуб «Валдай». URL: <https://ru.valdaiclub.com/a/reports/attestat-zrelosti-2023/> (дата обращения: 12.06.2024).

Батищев Р.Ю. 2021. Память о войнах и «войны памяти» в современных memory studies: основные подходы к изучению и ключевые акторы // Tempus et Memoria. Т. 2, № 1. С. 34-42. DOI 10.15826/tetm.2021.1.005

Волкова А.В., Лукьянова Г.В., Мартянов Д.С. 2021. Цифровой вигилантизм: паттерны и ценностные ориентации // Южно-российский журнал социальных наук. Т. 22, № 2. С. 37-52. DOI 10.31429/26190567-22-2-37-52

Городецкий М.В. 2023. Онтологический смысл цифровизации: слияние материи и языка // Антиномии. Т. 23, № 1. С. 7-29. DOI 10.17506/26867206_2023_23_1_7

Дериглазова Л.В., Погорельская А.М. 2023. Культура отмены в политике и международных отношениях // Вестник МГИМО-Университета. Т. 16, № 4. С. 7-33. DOI 10.24833/2071-8160-2023-4-91-7-33

Ефременко Д.В. 2022. Память как casus belli // Россия в глобальной политике. Т. 20, № 6. С. 119-141. DOI 10.31278/1810-6439-2022-20-6-119-141

Илларионов Г.А., Мосиенко М.К. 2023. «Войны памяти» и проблема социально-эпистемологического релятивизма // Антиномии. Т. 23, № 1. С. 30-50. DOI 10.17506/26867206_2023_23_1_30

Котунова О.В. 2024. Культура отмены в структуре мемориального дискурса новых медиа: критический анализ // Galactica Media: Journal of Media Studies. Т. 6, № 1. С. 188-201. DOI 10.46539/gmd.v6i1.446

Малинова О.Ю. 2019. Кто и как формирует официальный исторический нарратив? Анализ российских практик // Политика. № 3. С. 103-126. DOI 10.30570/2078-5089-2019-94-3-103-126

Малинова О.Ю. 2020. Режим памяти как инструмент анализа: проблемы концептуализации // Политика памяти в современной России и странах Восточной Европы. Акторы, институты, нарративы / под ред. А.И. Миллера, Д.В. Ефременко. Санкт-Петербург : Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге. С. 26-39.

Миллер А.И. 2024. Устои «глобальной» мемориальной культуры под вопросом // Россия в глобальной политике. Т. 22, № 3. С. 68-81. DOI 10.31278/1810-6439-2024-22-3-68-81

Невзоров М.В. 2017. Управление внутригосударственными конфликтами с помощью политических проектов: случаи Косово (1992–1999) и Чеченской Республики (1996–2003) // Научные труды Северо-Западного института управления РАНХиГС. Т. 8, № 1. С. 44–52.

Савин Н.Ю. 2023. Демократия и политические события. Москва : Издательский дом ВШЭ. 200с.

Саймонс Г.Д., Мухин М.Ю., Олешко В.Ф., Сумская А.С. 2019. Цифровизация коммуникативно-культурной памяти и проблемы ее межпоколенческой трансляции: методика междисциплинарного исследования // Коммуникативные исследования. Т. 6, № 4. С. 906–939.

Севастьянова Я.В., Ефременко Д.В. 2020. Секьюритизация памяти и дилемма мнемонической безопасности // Политическая наука. № 2. С. 66–86. DOI 10.31249/poln/2020.02.03

Ушпаров И.А. 2023. Режим памяти в Кабардино-Балкарии: использование нарратива о депортации балкарского народа в региональной политике памяти // Tempus et Memoria. Т. 4, № 2. С. 6–15. DOI 10.15826/tetm.2023.2.047

Шураева Л.Ю., Коринец А.Г. 2022. Социальный эффект «культуры отмены» в цифровом пространстве на примере поколений Y и Z // Вестник университета. № 12. С. 248–256. DOI 10.26425/1816-4277-2022-12-248-256

Щенина О.Г. 2023. «Культура отмены» в политическом дискурсе: множественность форм и возможности исследования // Вестник Института социологии. Т. 14, № 4. С. 112–127. DOI 10.19181/vis.2023.14.4.7

Hoskins A. 2017. The Restless Past: An Introduction to Digital Memory and Media // Digital Memory Studies: Media Pasts in Transition / ed. by A. Hoskins. New York : Routledge. P. 1–24.

Jervis R. 1982. Security Regimes // International Organization. Vol. 36, iss. 2. P. 357–378. DOI 10.1017/S0020818300018981

Krasner S.D. 1982. Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables // International Organization. Vol. 36, iss. 2. P. 185–205. DOI 10.1017/S0020818300018920

Kubik J., Bernhard M. 2014. A Theory of the Politics of Memory // Twenty Years After Communism. The Politics of Memory and Commemoration / ed. by M. Bernhard, J. Kubik. Oxford ; New York : Oxford University Press. P. 7–36.

Laclau E., Mouffe C. 2001. Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Politics. London : Verso. 188 p.

Mälksoo M. 2015. “Memory Must Be Defended”: Beyond the Politics of Mnemonical Security // Security Dialogue. Vol. 46, iss. 3. P. 221–237. DOI 10.1177/0967010614552549

Ng E. 2022. Cancel Culture. A Critical Analysis. Cham : Palgrave Macmillan. 159 p.

Shapiro M.J., Bonham G.M. 1973. Cognitive Process and Foreign Policy Decision-Making // International Studies Quarterly. Vol. 17, iss. 2. P. 147–174. DOI 10.2307/2600226

References

Anikin D.A., Konakov D.N. Securitization of the Past in a Risk Society: Socio-Philosophical Analysis, *Sociodinamika* [Sociodynamics], 2022, no. 10, pp. 20–29. (In Russ.). DOI 10.25136/2409-7144.2022.10.39128

Anikin D.A., Linchenko A.A. Memory Wars in the East European Frontier: In Search of Research Methodology, *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta* [Tomsk State University Journal], 2021, no. 466, pp. 55–63. (In Russ.). DOI 10.17223/15617793/466/6

Barabanov O.N., Bordachev T.V., Lukyanov F.A., Sushentsov A.A., Timofeev I.N. Maturity Certificate, or the Order that Never Was, *Valdai Discussion Club*, 2023, available at: <https://valdaiclub.com/a/reports/maturity-certificate-or-the-order-that-never-was/> (accessed June 12, 2024).

Batishchev R.Yu. War Memory and “Memory Wars” in Modern Memory Studies: The Main Approaches and Key Actors, *Tempus et Memoria*, 2021, vol. 2, no. 1, pp. 34-42. (In Russ.). DOI 10.15826/tetm.2021.1.005

Deriglazova L.V., Pogorelskaya A.M. The Impact of Cancel Culture on Politics and International Relations, *Vestnik MGIMO-Universiteta* [MGIMO Review of International Relations], 2023, vol. 16, no. 4, pp. 7-33. (In Russ.). DOI 10.24833/2071-8160-2023-4-91-7-33

Gorodezky M.V. The Ontological Meaning of Digitalization: Merging of Matter and Language, *Antinomii* [Antinomies], 2023, vol. 23, no. 1, pp. 7-29. DOI 10.17506/26867206_2023_23_1_7

Hoskins A. The Restless Past: An Introduction to Digital Memory and Media, *Hoskins A. (ed.) Digital Memory Studies: Media Pasts in Transition*, New York, Routledge, 2017, pp. 1-24.

Illarionov G.A., Mosiyenko M.K. Memory Wars and the Problem of Socio-Epistemological Relativism, *Antinomii* [Antinomies], 2023, vol. 23, no. 1, pp. 30-50. (In Russ.). DOI 10.17506/26867206_2023_23_1_30

Jervis R. Security Regimes, *International Organization*, 1982, vol. 36, no. 2, pp. 357-378. DOI 10.1017/S0020818300018981

Kotunova O.V. Cancel Culture within the Framework of New Media’s Memorial Discourse: A Critical Analysis, *Galactica Media: Journal of Media Studies*, 2024, vol. 6, no. 1, pp. 188-201. (In Russ.). DOI 10.46539/gmd.v6i1.446

Krasner S.D. Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables, *International Organization*, 1982, vol. 36, no. 2, pp. 185-205. DOI 10.1017/S0020818300018920

Kubik J., Bernhard M. A Theory of the Politics of Memory, *Bernhard M., Kubik J. (eds.) Twenty Years After Communism. The Politics of Memory and Commemoration*, Oxford & New York, Oxford University Press, 2014, pp. 7-36.

Laclau E., Mouffe C. *Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Politics*, London, Verso, 2001, 188 p.

Malinova O.Yu. Memory Regime as a Tool of Analysis: Problems of Conceptualization, *Miller A.I., Yefremenko D.V. (eds.) The Politics of Memory in Modern Russia and Countries of Eastern Europe. Actors, Institutions, and Narratives*, Saint Petersburg, Izdatel'stvo Evropejskogo universiteta v Sankt-Peterburge, 2020, pp. 26-39. (In Russ.).

Malinova O.Yu. Who Forms Official Historical Narrative and How? Analysis of Russian Practices, *Politija* [Politeia], 2019, no. 3, pp. 103-126. (In Russ.). DOI 10.30570/2078-5089-2019-94-3-103-126

Mälksoo M. “Memory Must Be Defended”: Beyond the Politics of Mnemonical Security, *Security Dialogue*, 2015, vol. 46, no. 3, pp. 221-237. DOI 10.1177/0967010614552549

Miller A.I. The Foundations of the “Global” Memorial Culture in Question, *Rossiya v globalnoi politike* [Russia in Global Affairs], 2024, vol. 22, no. 3, pp. 68-81. (In Russ.). DOI 10.31278/1810-6439-2024-22-3-68-81

Nevzorov M.V. Management of Intra-State Conflicts by Means of Political Projects: Kosovo (1992–1999) and Chechen Republic (1996–2003) Cases, *Nauchnye trudy Severo-Zapadnogo instituta upravlenija RANHiGS* [Proceedings of the North-West Institute of Management of RANEPa], 2017, vol. 8, no. 1, pp. 44-52. (In Russ.).

Ng E. *Cancel Culture. A Critical Analysis*, Cham, Palgrave Macmillan, 2022, 159 p.

Savin N.Yu. *Democracy and Political Events*, Moscow, Izdatel'skij dom VShJe, 2023, 200 p. (In Russ.).

Sevastyanova Ya.V., Efremenko D.V. Securitization of Memory and the Dilemma of Mnemonic Security, *Politicheskaja nauka* [Political Science], 2020, no. 2, pp. 66-86. (In Russ.). DOI 10.31249/poln/2020.02.03

Shapiro M.J., Bonham G.M. Cognitive Process and Foreign Policy Decision-Making, *International Studies Quarterly*, 1973, vol. 17, no. 2, pp. 147-174. DOI 10.2307/2600226

Shchenina O. G. "Cancel Culture" in Political Discourse: Multiple Forms and Research Opportunities, *Vestnik instituta sotziologii* [Bulletin of the Institute of Sociology], 2023, vol. 14, no. 4, pp. 112-127. (In Russ.). DOI 10.19181/vis.2023.14.4.7

Shuraeva L.Yu., Korinets A.G. Social Effect Of "Cancel Culture" on the Digital Environment: The Case of Generations Y And Z, *Vestnik universiteta* [University Bulletin], 2022, no. 12, pp. 248-256. (In Russ.). DOI 10.26425/1816-4277-2022-12-248-256

Simons G.D., Mukhin M.Y., Oleshko V.F., Sumskeya A.S. Digitalization of Communicative and Cultural Memory and Problems of Its Intergenerational Translation: Methods of Interdisciplinary Research, *Kommunikativnye issledovaniya* [Communication Research], 2019, vol. 6, no. 4, pp. 906-939. (In Russ.)

Ushparov I.A. Mnemonic Regime in the Republic of Kabardino-Balkaria: Using the Narrative of the Deportation of the Balkarian People in Regional Memory Politics, *Tempus et Memoria*, 2023, vol. 4, no. 2, pp. 6-15. (In Russ.). DOI 10.15826/tetm.2023.2.047

Volkova A.V., Lukyanova G.V., Martyanov D.S. Digital Vigilantism: Behavioral Patterns and Value Orientations, *Juzhno-rossijskij zhurnal social'nyh nauk* [South-Russian Journal of Social Sciences], 2021, vol. 22, no. 2, pp. 37-52. (In Russ.). DOI 10.31429/26190567-22-2-37-52

Yefremenko D.V. Memory as Casus Belli, *Rossija v global'noj politike* [Russia in Global Affairs], 2022, vol. 20, no. 6, pp. 119-141. (In Russ.). DOI 10.31278/1810-6439-2022-20-6-119-141

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Илья Андреевич Туркин

лаборант философского факультета Томского государственного университета,
г. Томск, Россия;
ORCID: 0009-0006-9485-1659;
ResearcherID: JMC-4419-2023;
SPIN-код: 8245-0570;
E-mail: ilya.turkin2001@gmail.com

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Ilya A. Turkin

Laboratory Assistant, Faculty of Philosophy,
Tomsk State University,
Tomsk, Russia;
ORCID: 0009-0006-9485-1659;
ResearcherID: JMC-4419-2023;
SPIN-code: 8245-0570;
E-mail: ilya.turkin2001@gmail.com



Шавеко Н.А. Правовое государство и верховенство права: эволюция двух доктрин в контексте выработки новой историографической модели политико-правовых знаний // Антиномии. 2024. Т. 24, вып. 3. С. 115-130. https://doi.org/10.17506/26867206_2024_24_3_115

УДК 342.72

DOI 10.17506/26867206_2024_24_3_115

Правовое государство и верховенство права: эволюция двух доктрин в контексте выработки новой историографической модели политико-правовых знаний

Николай Александрович Шавеко

Институт государства и права Российской академии наук

г. Москва, Россия

E-mail: shavekonikolai@gmail.com

*Поступила в редакцию 26.08.2024, поступила после рецензирования 09.09.2024,
принята к публикации 10.09.2024*

В статье рассматриваются две теоретические проблемы, связанные с доктринами правового государства и верховенства права. Первая проблема касается соотношения этих понятий. Автор статьи доказывает, что различия между ними зачастую преувеличены и не существенны с нормативной точки зрения. Вторая проблема – вклад российской юриспруденции дореволюционного периода в развитие доктрины правового государства. В статье анализируются основные идеи отечественных правоведов и дается их оценка с учетом современного состояния философии и теории права. Подчеркивается, что идея правового государства получила



© Шавеко Н.А., 2024

на отечественной почве оригинальное развитие, при этом многие теории остаются актуальными и прогрессивными даже сегодня. Так, понимание верховенства права как относительной идеи, подчиненной более высокому нравственному идеалу, позволяет: 1) не смешивать идеал правового государства с другими идеалами, придавая ему специфический (формальный) смысл; 2) увидеть возможности социального регулирования не только с помощью права и других нормативных регуляторов, но и принципиально иных средств; 3) теоретически обосновать допустимость несоблюдения права в отдельных случаях, не прибегая к нечетким определениям «неправового» закона. При более широком (содержательном) понимании правового государства интерес представляет трактовка отечественными мыслителями прав человека как средства духовного развития личности, а не изоляции от общества и потакания любым индивидуальным желаниям. Теоретическую основу исследования составляют отечественные и зарубежные научные труды по верховенству права и правовому государству. Основным методом выступает обобщение, что позволяет продемонстрировать общее направление эволюции рассматриваемых доктрин и выявить схожие идеи у разных авторов. Актуальность исследования обусловлена необходимостью защиты истории правовой мысли от разного рода идеологических искажений. Кроме того, изучение российской традиции философско-правовой мысли позволяет обеспечить культурную преемственность, имеющую значение для выработки консолидирующей национальной идентичности.

Ключевые слова: правовое государство, верховенство права, правовой идеал, естественное право, социальное государство, права человека, право на достойное существование, национальная идентичность, православие

Благодарности: Исследование выполнено за счет гранта Минобрнауки России в форме субсидий из федерального бюджета на проведение крупных научных проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития (соглашение от 12 июля 2024 г. № 075-15-2024-639).

Rechtsstaat and Rule of Law: Evolution of Two Doctrines in Context of Developing a New Historiographical Model of Political and Legal Knowledge

Nikolai A. Shaveko

Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences
Moscow, Russia
E-mail: shavekonikolai@gmail.com

Received 26.08.2024, revised 09.09.2024, accepted 10.09.2024

Abstract. The article examines two theoretical issues related to the doctrines of Rechtsstaat and rule of law. The first issue concerns the relationship between these concepts. The author of the article argues that the differences between them are often exaggerated and are not significant from a normative perspective. The second issue addresses the contribution of Russian pre-revolutionary jurisprudence to the development of the Rechtsstaat doctrine. The article analyzes the main ideas of Russian legal scholars and evaluates them in the light of the current state of legal philosophy and theory. It is emphasized that

the idea of Rechtsstaat has taken a unique form in Russia, with many theories remaining relevant and progressive even today. Thus, Russian thinkers' understanding of the rule of law as a relative concept, subordinate to a higher moral ideal, allows for the following: 1) distinguishing the ideal of Rechtsstaat from other ideals by giving it a specific (formal) meaning, 2) recognizing the potential for social regulation not only through law and other normative regulators, but also by totally different means, and 3) providing theoretical justification for the violation of law in certain cases, without resorting to vague concept of "lawlessness". With a broader (substantive) understanding of Rechtsstaat, Russian legal scholars' interpretation of human rights as a means of personal development, rather than as a tool for isolating individuals from society and indulging any of their desires, is of interest. The theoretical basis of the study is formed by both domestic and foreign research on the rule of law and Rechtsstaat. The primary method is generalization, which allows demonstrating the general direction of the evolution of the doctrines under consideration and identifying similar ideas among different authors. The relevance of the research stems from the need to protect the history of legal thought from various ideological distortions. In addition, the study of the Russian tradition of philosophical and legal thought ensures cultural continuity, which is important for the development of a consolidating national identity.

Keywords: Rechtsstaat, rule of law, legal ideal, natural law, welfare state, human rights, right to a decent life, national identity, Orthodoxy

Acknowledgements: The research was carried out at the expense of a grant from the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation in the form of subsidies from the federal budget for major scientific projects in priority areas of scientific and technological development (Agreement No. 075-15-2024-639, dated July 12, 2024).

For citation: Shaveko N.A. Rechtsstaat and Rule of Law: Evolution of Two Doctrines in Context of Developing a New Historiographical Model of Political and Legal Knowledge, *Antinomies*, 2024, vol. 24, iss. 3, pp. 115-130. (In Russ.). https://doi.org/10.17506/26867206_2024_24_3_115

Правовое государство и верховенство права: сходства и различия

В последние десятилетия многие мыслители обращаются к проблеме соотношения доктрин правового государства и верховенства права¹. Несколько докладов на эту тему подготовила Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия)². Общепринятой является точка зрения, согласно которой принципы правового государства и верховенства права не совпадают: «...государство с верховенством права не является правовым государством автоматически и наоборот» (Шарандин, Кравченко 2013: 305). Но в то же время отмечается конвергенция данных понятий на современном этапе (Зорькин 2013: 32; Недзел 2013: 109; Дедов

¹ Более подробно см.: (Ударцев, Темирбеков 2015).

² См., напр.: Доклад о верховенстве права, утвержденный Венецианской комиссией на 86-й пленарной сессии (Венеция, 25–26 марта 2011 г.) // Venice Commission. URL: [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2011\)003rev-rus](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2011)003rev-rus) (дата обращения: 24.08.2024).

2013: 261-263). В связи с этим возникает вопрос о сходствах и различиях между ними. И оказывается, что ответ совсем не очевиден. В первую очередь потому, что «до сих пор не сформулировано общепризнанное определение ни правового государства, ни верховенства права» (Виноградов 2013: 374). Авторы использовали данные понятия в различных контекстах и смыслах. Но даже в этом случае, на наш взгляд, можно выявить вкладываемое в них значение, осуществив тем самым сравнительный анализ самих понятий.

Принято считать, что доктрина правового государства зародилась и получила распространение в странах континентальной правовой семьи (прежде всего, в Германии), где основным источником права выступает закон, тогда как доктрина верховенства права – в странах англосаксонской правовой семьи (Великобритания), где таким источником считается судебный прецедент. Поэтому в первом случае право понимается сугубо как продукт государства, во втором предполагается, что оно существует как бы независимо от государственной воли. Соответственно, правовое государство обычно трактуется как идеал государства, ограничивающего себя правом, тогда как верховенство права – идеал, где государство ограничено внеположным ему правом.

Однако представляется, что такое разграничение не вполне корректно и не позволяет увидеть общность двух идеалов. Прежде всего, неверно противопоставлять доктрины правового государства и верховенства права как исходящие соответственно из позитивистского и юснатуралистского (или иного непозитивистского) понимания. Так, например, законодательный и судебский корпус можно рассматривать как части государственной машины, создающей право (тогда обе доктрины укладываются в рамки позитивизма). В то же время можно говорить о существовании некоего правового идеала, которым должны руководствоваться законодатели и судьи (в этом случае доктрины существуют в рамках естественно-правовой традиции). И при парламентском, и при судебском правотворчестве прослеживается влияние объективных факторов, с которыми правотворец должен считаться, а также роль обычая как источника права (тогда доктрины приобретают социологическое измерение). Наконец, в узком смысле под государством можно понимать только исполнительную (административную) власть, тогда закон и судебный прецедент выступают как ее внешние ограничители и в этом смысле противопоставляются ей.

Рассматриваемые доктрины отличаются скорее тем, что в континентальной правовой семье мы можем отождествить правовые нормы с волей конкретного законодателя, тогда как в англосаксонской семье право хотя и создается волей судей (наряду с законодателем являющихся агентами государства), но эта воля рассредоточена между бесчисленным количеством правотворческих субъектов (судей) прошлого и настоящего.

Из сказанного следует, что различия между доктринами правового государства и верховенства права, вытекающие из особенностей правовых семей, касаются скорее описания сущего (процесса правотворчества), чем представлений о должном. А попытки (свойственные, как правило, исследователям из стран англосаксонской правовой семьи) разграничить эти

доктрины по критерию признания или непризнания неотчуждаемых (то есть не просто дарованных государством, но и объективно существующих) прав человека (Недзел 2013: 120, 123, 125; Крайгир 2013: 472-478) некорректны. Неверно, в частности, представлять континентальную традицию как господство позитивизма, а англосаксонскую – как радикальное противопоставление права и государства. В действительности противопоставление естественного и позитивного права свойственно как английским, так и континентальным мыслителям Нового времени. Конечно, буржуазно-демократические революции и появление выдающихся мыслителей, отстаивавших идеалы модерна, происходили в разных странах не одновременно. Однако, в сущности, речь идет об общеевропейской траектории развития правовой мысли. Соответственно, обе рассматриваемые доктрины изначально отличались скорее описаниями процесса правотворчества, а не сущностными идеалами.

Стоит также заметить, что определенные представления о должном касаются самого процесса правотворчества, то есть могут разворачиваться дискуссии относительно достоинств и недостатков романо-германской и англосаксонской правовых семей. Отсюда проистекает, с одной стороны, критика прецедентной системы как непрозрачной, с другой – защита ее как более гибкой и предсказуемой (Недзел 2013: 125-126). Однако вряд ли подобные споры о надлежащих способах правотворчества относятся непосредственно к доктринам правового государства и верховенства права.

Схожей выглядит эволюция идеалов правового государства и верховенства права. Изначально в Новое время доминирующее положение заняли политические идеалы свободы и равенства, а также ограничения государственной власти, что демонстрируют в своих работах Дж. Локк, И. Кант и др. Поэтому, когда в начале XIX в. закрепился термин «правовое государство», он использовался в качестве условного обозначения либеральной программы реформ монархического государства (Mohl 1866; Крайгир 2013: 484-485); «смысл и функция принципа Rechtsstaat заключались в оберегании и защите индивидуальных свобод посредством позитивного права» от произвола монарха (Тидеманн 2013: 272-273). Однако после поражения революции 1848 г. значение термина изменилось: он обозначал уже не идеал независимости личности, а формальное следование закону, что соотносилось с доминировавшим в то время позитивистским правопониманием (Stahl 1878). И лишь опыт национал-социалистического режима, по общему признанию, вновь заставил задуматься о включении в понятие правового государства содержательного компонента в виде неких объективных фундаментальных прав, закрепленных в конституции (Грот 2013: 242-249).

По некоторым оценкам, особым пиететом к закону, принятому парламентом, отличалось французское понимание правового государства (*État de droit*). Это связывается с популярностью республиканской традиции, идущей от Ж.-Ж. Руссо, который видел в законах (принятых, однако, напрямую, а не через парламент) выражение «общей воли», призванной ограничивать административную власть. Очевидно, что во главу угла ставились не индивидуальные права, а народный суверенитет, и через него легитимировалось

верховенство позитивного закона (Тидеманн 2013: 272-273). Однако, как отмечают исследователи, «политические превратности первой половины XX века продемонстрировали, что парламентские статуты более не обеспечивали твердокаменную основу для верховенства права в республиканской традиции» (Грот 2013: 251), поэтому после Второй мировой войны французские правоведы также вышли за рамки юридического позитивизма.

Что касается верховенства права, то утверждается, что с конца XVII в. оно основывалось на идее фундаментальных прав, но по мере развития юридического позитивизма и статутного нормотворчества стало все больше ассоциироваться с определенными формальными характеристиками закона (Harden, Lewis 1986: 32-33). Ситуация изменилась лишь после 1945 г. (Грот 2013: 254).

Таким образом, доктрины правового государства (в немецком и французском вариантах) и верховенства права прошли схожий путь от узкого (формального) к широкому (содержательному) пониманию (Пффордтен 2013: 445). И хотя в этом содержательном идеале континентальная традиция, в отличие от англосаксонской, сегодня придает ключевое значение понятию человеческого достоинства (Пффордтен 2013: 451), данное отличие является скорее терминологическим, поскольку обе доктрины исходят из принципа нормативного индивидуализма и создания возможностей для самореализации личности (Пффордтен 2013: 443-444; Виноградов 2013: 375).

Вклад отечественной юриспруденции: формализм и относительность в понимании правового государства

Доктрина правового государства активно осмыслялась в отечественной юриспруденции дореволюционного периода. Практически все известные правоведы – П.И. Новгородцев, Б.А. Кистяковский, И.А. Ильин, Н.Н. Алексеев, В.М. Гессен, С.И. Гессен, Г.Ф. Шершеневич, С.А. Котляревский, Ф.В. Тарановский и другие авторы – высказывались по данной теме. В связи с этим возникают вопросы: в чем именно заключается их оригинальный вклад в развитие доктрины правового государства; насколько актуальны их идеи в настоящее время?

Рассмотреть взгляды каждого ученого на правовое государство в рамках одной статьи невозможно, тем более это уже сделано во многих других исследованиях. Поэтому мы сосредоточимся на выделении общих черт российского правоведения дореволюционного периода. Прежде всего, следует отметить «приоритет морально-этических критериев и негосударственных социальных регуляторов в построении правовой государственности», а также «отсутствие возведения концепции правового государства в абсолют, своего рода “культу” правового государства» (Карпов 2015: 894). Эти объясняется тем, что в дореволюционной юриспруденции не было четкого разграничения понятий права и закона. Соответственно, под правовым государством обычно понималось государство, связывающее само себя посредством закона, соблюдающее им же установленные процедуры правотворчества и правоприменения. Все содержательные требования к закону,

в свою очередь, считались метаюридическими, то есть выходящими за пределы юридической науки и имеющими нравственный характер. В этой связи не удивительно, что сам по себе идеал связанности государства правом воспринимался как относительный и подчиненный при этом нравственному идеалу.

Сильной стороной дореволюционных теорий является, на наш взгляд, то, что они не смешивают правовой и моральный идеал, но при этом четко фиксируют их соотношение. Сегодня принято различать формальные и содержательные концепции правового государства и верховенства права: первые ограничиваются формальными требованиями к законам, вторые предписывают им определенное содержание (Крайгир 2013: 478-479). В формальных концепциях отправной точкой современных дискуссий являются принципы, названные Л. Фуллером «внутренней моралью права» (Фуллер 2007: 47-116). В содержательных концепциях дискуссии разворачиваются в основном относительно понятия и перечня прав человека (а поскольку политические права являются частью таких прав, то дискуссии касаются и демократии). При этом позиции относительно существа и перечня прав человека, а также понятия и признаков демократии могут существенно отличаться и даже быть диаметрально противоположными. Соответственно, если понимать принципы правового государства и верховенства права широко, то все возникающие спорные вопросы приходится разрешать в рамках соответствующих доктрин. В результате, как отмечает Й. Раз, содержательные концепции стирают различия между верховенством права и прочими идеалами, фактически возводя его в ранг «законченной социальной философии» и тем самым лишая собственной специфики (Raz 1979: 211).

На наш взгляд, российская дореволюционная философия права может внести вклад в современные дискуссии о правовом государстве и верховенстве права. Речь идет о том, чтобы содержательные критерии права формулировать в рамках нравственной философии, а не философии права, тогда как идеал правового государства понимать исключительно как связанность государства собственным же законом. Данный шаг представляется продуктивным, поскольку позволяет сделать идеал правового государства более определенным, не смешивая его с другими идеалами (в этом вопросе мы полностью разделяем позицию Й. Раза).

Восприятие отечественными мыслителями правового государства как относительного идеала также представляется обоснованным и до сих пор актуальным, причем сразу по двум причинам.

Во-первых, в настоящее время приходится учитывать ограниченность права как социального регулятора. В этой связи В.Д. Зорькин констатирует: «В ядре общества модерна – почитание права. Превращение права в эффективную светскую религию. То есть своеобразный культ права и основанная на нем непрерывно социально подкрепляемая вера во всемогущество писаного закона и поддерживающих закон институтов. Вера в неподкупность судей, в способность правовой системы обеспечивать действительное равенство всех перед лицом закона» (Зорькин 2013: 28). Однако в эпоху пост-модерна эти идеалы подвергаются серьезной критике. Конечно, не всегда

она обоснована. Например, когда доктрины правового государства и верховенства права обвиняют в том, что они способствуют излишней зарегулированности всех сфер общественной жизни, или в том, что через принцип равенства перед законом маскируют социальное неравенство, имеет место неверная трактовка самих доктрин. Они никогда и не подразумевали, что правом должны быть урегулированы абсолютно все общественные отношения или что правовой идеал сводится к принципу равенства перед законом. Однако доктрины верховенства права и правового идеала, по крайней мере, предполагают, что государство должно действовать исключительно посредством права, то есть через определение подвластных субъектов, а также их прав и обязанностей. И именно здесь можно обнаружить их ограниченность.

Некоторые современные ученые полагают, что позитивное право в будущем может быть заменено «регулированием на основе данных», осуществляемым с помощью цифровых технологий (Рувинский 2023). Однако представляется, что такое регулирование все еще следует рассматривать как правовое, ибо оно основывается на нормативных предписаниях, исходящих от государства; меняются лишь способы правоприменения, становясь более автоматизированными, вследствие чего требуются новые способы защиты индивидом своих прав. Другое дело, что государство может использовать стратегию создания потребностей, целей и ценностей, не связанную с правовыми стимулами (поощрениями и наказаниями)³, то есть не прибегать к формулированию конкретных норм поведения, прав и обязанностей тех или иных субъектов. Кроме того, государство может делать ставку на «ручное управление», то есть не на общие правила, а на применимые лишь к конкретным ситуациям. Во всех указанных случаях оно руководствуется идеей целесообразности и эффективности, но при этом «нередко растворяется ведущая роль законов» (Тихомиров 2016: 8). Очевидно, что у неправовых («ненормативных») форм регуляции есть свои недостатки, но они становятся все более популярными сегодня, поэтому необходимо иметь в виду ограниченность идеалов верховенства права и правового государства.

Во-вторых, относительность идеала правового государства обусловлена тем, что право может быть несправедливым. Поэтому в отдельных случаях целесообразно ставить вопрос о его соблюдении. Подобные темы традиционно обсуждаются в рамках проблематики гражданского неповиновения. Однако при абсолютизации идеала правового государства или верховенства права трудно возразить что-либо на правомерные действия государства или же оправдать отдельные неправомерные действия подвластных лиц (то самое гражданское неповиновение). В зарубежной литературе осознание данного факта произошло только в процессе рефлексии над ужасами нацистского режима. Ключевой фигурой стал немецкий мыслитель Г. Радбрух, развивавший понимание права как воплощающего справедливость социального регулятора, а потому не считавший правовыми

³ Например, посредством агитации и пропаганды, экономической и культурной политики, выработки доктрин, проектов, стратегий и дорожных карт.

(а значит, подлежащими соблюдению) явно попирающие справедливость нормы. Согласно знаменитой «формуле Радбруха», сформулированной им в программной статье 1946 г., «когда действующий закон становится столь вопиюще несовместимым со справедливостью, что закон как “несправедливое право” отрицает справедливость... когда к справедливости даже не стремятся, а равенство, составляющее ее основу, сознательно отрицается в правотворческом процессе» (Радбрух 2004: 234), то закон в принципе не может считаться правом, а значит, нет никаких моральных оснований для его соблюдения. Эта идея оказала серьезное влияние на западную юриспруденцию, причем как континентальную (Р. Алекси), так и англо-американскую (Л. Фуллер)⁴. В российском же дореволюционном правоведении, проникнутом нравственным идеализмом, естественно-правовые идеи не только «возродились» намного раньше (пусть и под влиянием отдельных зарубежных авторов), но и приобрели большую популярность (Жуков 2017: 10, 28). Можно сказать, что отечественное правоведение выступило связующим звеном, переносящим идею нравственной критики права из последней трети XIX в. во вторую половину XX столетия.

Таким образом, идеалы правового государства и верховенства права имеют свои ограничения: 1) место самого права в государственном регулировании общественных отношений; 2) необходимость соотнесения ценности стабильного правопорядка с иными ценностями, которые государство на практике может игнорировать. Оба аспекта получили должное развитие в дореволюционной отечественной юриспруденции.

Возвращаясь к двум особенностям понимания правового государства – разграничение идеала правового государства и внеположного ему нравственного идеала; подчеркивание относительности идеала правового государства, можно сформулировать преимущество отечественного подхода к несправедливым законам. Дело в том, что если следовать «формуле Радбруха», то не подлежащими применению будут только явно несправедливые законы. Однако это не охватывает всех случаев, когда гражданское неповиновение выглядит морально оправданным. Так, например, возможна ситуация, при которой допустимо нарушение даже вполне справедливого закона с целью обратить общественное внимание на другой, несправедливый закон (например, нарушить правила дорожного движения, заблокировав дорогу, чтобы привлечь внимание к несправедливому повышению налогов для автовладельцев). Или возможна ситуация, при которой допустимо нарушение несправедливого закона, не являющегося крайне несправедливым. Например, если отсутствуют действенные легальные способы изменить этот закон, а негативные последствия его нарушения меньше, чем польза от несоблюдения. Правоведы, которые указывают на моральную недопустимость следования только крайне несправедливым («неправовым») законам, упускают из виду все эти возможности. В результате в государстве, где законы соответствуют «формуле Радбруха», где эти законы являются «правовыми», гражданское неповиновение в принципе невозможно

⁴ Более подробно см.: (Архипов 2015).

оправдать. Разграничение же права (которое бывает справедливым и несправедливым) и внеположного ему нравственного идеала, которому право должно соответствовать, открывает более широкие возможности по оправданию гражданского неповиновения (в том числе в правовых государствах и в части несоблюдения «правовых законов»), поскольку в этом случае нет ограничивающей завязки на понятии «неправо».

**Вклад отечественной юриспруденции:
социальный и религиозный уклон
в понимании общественного идеала**

В настоящее время распространены широкие (содержательные) трактовки верховенства права и правового государства, связанные с теорией прав человека, теорией разделения властей, демократической теорией и т.д. Представляется, что свой вклад может внести и нравственный идеализм российской дореволюционной юриспруденции.

В первую очередь отметим, что путь «от марксизма к идеализму» на рубеже XIX–XX вв. в том или ином виде прошли многие российские мыслители, в том числе С.Н. Булгаков, П.Б. Струве, Н.А. Бердяев. В философии права идеализм стал одним из доминирующих направлений, что выразилось в феномене «возрождения» естественно-правовой теории. При этом можно условно разделить правоведов-идеалистов того времени на два основных (и отчасти пересекающихся) направления: неокантианское и религиозное. Как отмечает В.Н. Жуков, практически все представители естественно-правовой теории первой половины XX столетия в той или иной мере испытали на себе влияние кантовских идей (Жуков 2017: 10), но одновременно общей тенденцией стал их постепенный переход на религиозные позиции (Жуков 2017: 6). Кроме того, широкое распространение получили идеи социализма (Жуков 2017: 12). Примечательно, что и для И. Канта, и для христианской мысли (особенно в традиции исихазма, получившей распространение в России) человеческая личность имеет статус высшей ценности, что определяло либеральный уклон российской интеллигенции – признание прав личности, ограничивающих государственную власть, политических прав, обусловленных идеей народного суверенитета, и необходимости разделения властей. Влияние социалистической идеологии при этом способствовало отказу от классического либерализма в пользу социального. А поскольку православие рассматривалось многими как основа национальной правовой культуры и любых идеалистических построений в области права, наибольшее распространение получил консервативный либерализм (Жуков 2017: 8).

На базе этих общих характеристик сформулируем две более конкретные особенности российской философии права, которые можно расценивать как особый вклад в развитие содержательных трактовок правового государства.

Во-первых, признание социально-экономических прав человека, или прав человека второго поколения. В этой связи многих мыслителей можно

определить как социальных либералов (П.И. Новгородцев) или даже признающих «правду либерализма» социалистов (Б.А. Кистяковский, С.И. Гессен). Ключевой здесь является дискуссия о праве на достойное существование, начатая с подачи ряда зарубежных юристов (А. Менгер, Г. Еллинек)⁵, но довольно быстро поддержанная в России, о чем впервые написал В.С. Соловьев в конце XIX в. (Соловьев 1988: 421-423). И эта дискуссия продолжается до сих пор. Однако, на наш взгляд, проблема с правом на достойное существование состоит в том, что нельзя априори обосновать конкретный уровень гарантий, которые индивид вправе потребовать от государства: подобное обоснование в лучшем случае возможно только применительно к конкретным условиям времени и места. Но и тогда во внимание придется принимать не столько устоявшиеся представления о достойном существовании (как думали российские правоведы), сколько фактические возможности государства. Идея «равных стартовых возможностей», предлагавшаяся как критерий достойного существования (П.И. Новгородцев), также имеет свои изъяны, потому что полного равенства возможностей достичь практически нереально, а чрезмерные попытки обеспечить таковое неминуемо ведут к тоталитарному строю, отрицающему права человека. Тем не менее можно констатировать, что общая социальная направленность российской правовой мысли дореволюционного периода и связанное с этим понимание правового государства как социального (Фролова 2012) находились в рамках общемирового тренда развития теории прав человека, а идеал социального государства сохраняет актуальность и поныне.

Во-вторых, заслуживает внимания религиозно-нравственный уклон политико-правовых идеалов российских мыслителей (опять же заданный В.С. Соловьевым), видящих в православии основу национальной культуры. Казалось бы, в современных светских государствах религиозная философия права вряд ли может претендовать на значительную поддержку. Однако нынешний кризис международного правопорядка вновь делает главными субъектами международных отношений национальные государства, что обуславливает попытки последних актуализировать у своего населения общегражданскую национальную идентичность, обращаясь к тем или иным культурным традициям. Кроме того, кризис либеральной идеи ценностной нейтральности государства еще в 1980-е гг. обусловил на Западе академическую дискуссию либералов и коммунитаристов, а позднее – рост популярности гражданских республиканцев, мыслящих государство средством реализации не эгоистических интересов граждан, а общих целей и общего блага и подчеркивавших роль общественной солидарности. В этих новых условиях религиозный-нравственный и национальный уклон отечественных правоведов может представлять определенный интерес, что, конечно, не означает необходимости прямого заимствования их идей. Не стоит забывать, что подобный уклон, например, привел И.А. Ильина к отрицанию всеобщего избирательного права (Ильин 1993: 18-19), оспариванию правомерности какой-либо критики власти (Ильин 1998: 497), явно антилиберальному

⁵ Более подробно см.: (Сухобок 2022).

пониманию государства как «организатора» духовной жизни (Ильин 1994: 267) и, наконец, к комплиментарным высказываниям о фашизме, Б. Муссолини и А. Гитлере (Захарцев 2021). Однако в целом акцент на культурных традициях и общенациональной идентичности сегодня представляется актуальным.

Оба вышеназванных аспекта можно объединить в один, указав, что российские правоведа в духе своего времени переосмыслили феномен прав человека. Дело в том, что изначально они понимались скорее в негативном смысле, имея своей целью ограждение жизни человека от вмешательства других людей и самого государства. Однако со временем стали рассматриваться как средство, помогающее человеку развиваться в избранных им самим направлениях. И это потребовало известного позитивного вмешательства государства. Именно такое понимание прав человека и отстаивали отечественные правоведа, будь то «правовое социальное государство» (Б.А. Кистяковский), «православное правовое государство» (Н.Н. Алексеев) или другие подобные концепции. Вот почему, несмотря на неубедительность отдельных теорий, ключевые направления развития российской мысли по вопросу прав человека заслуживают в целом позитивной оценки. В дополнение стоит отметить, что обращение к философско-правовым концепциям отечественных мыслителей может быть актуально еще и потому, что большинство из них имеют гибридный характер, совмещая элементы трех «магистральных» политических идеологий – либерализма, консерватизма, социализма (Демин 2022: 29), и в этом смысле способны стать основой социального компромисса.

Заключение

По результатам проведенного экскурса в развитие доктрин правового государства и верховенства права можно сделать ряд выводов.

Во-первых, различия между правовым государством и верховенством права как нормативными идеалами часто преувеличиваются. Несмотря на то, что названные доктрины разрабатывались применительно к разным правовым семьям, они тождественны в своей сущности. Во-вторых, историю развития воззрений на соответствующий нормативный идеал следует реконструировать с опорой не только на западных, но и российских мыслителей.

Многие положения отечественной юриспруденции дореволюционного периода остаются актуальными и прогрессивными даже сегодня. Так, понимание правового государства как относительной идеи, подчиненной более высокому нравственному идеалу, позволяет: 1) не смешивать идеал правового государства с другими идеалами, придавая ему специфический (формальный) смысл; 2) увидеть возможности социального регулирования не только с помощью права и других нормативных регуляторов, но и принципиально иных средств; 3) теоретически обосновать допустимость несоблюдения права в отдельных случаях, не прибегая к нечетким определениям «неправового» закона. При более широком (содержательном) понимании

правового государства интерес представляет трактовка отечественными мыслителями прав человека как средства духовного развития личности, а не изоляции от общества и потакания любым желанием.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Архипов С.И. 2015. Правовые теории Роберта Алекси и Лона Фуллера // Электронное приложение к «Российскому юридическому журналу». № 6. С. 5-16.

Виноградов В.А. 2013. Правовое государство и верховенство права: доктрины, конкуренция юрисдикций, обеспечение правовой свободы. Позиции Конституционного Суда РФ в отношении правового государства // Доктрины правового государства и верховенства права в современном мире / отв. ред. В.Д. Зорькин, П.Д. Баренбойм. Москва : ЛУМ : Юстицинформ. С. 373-395.

Грот Р. 2013. Германский Rechtsstaat в сравнительной перспективе // Доктрины правового государства и верховенства права в современном мире / отв. ред. В.Д. Зорькин, П.Д. Баренбойм. Москва : ЛУМ : Юстицинформ. С. 238-259.

Дедов Д.И. 2013. Доктрины верховенства права и правового государства как методология философии права // Доктрины правового государства и верховенства права в современном мире / отв. ред. В.Д. Зорькин, П.Д. Баренбойм. Москва : ЛУМ : Юстицинформ. С. 260-271.

Демин И.В. 2022. Понятие государства в философско-политических концепциях Сергея Гессена и Ивана Ильина: «правовой социализм» vs. «правовой консерватизм» // Политика. № 3. С. 28-47. DOI 10.30570/2078-5089-2022-106-3-28-47

Жуков В.Н. 2017. Русская философия права: от рационализма к мистицизму. Москва : Проспект. 351 с.

Захарцев С.И. 2021. Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, или Что скрывает биография философа И.А. Ильина // Российский журнал правовых исследований. Т. 8, № 2. С. 95-102. DOI 10.17816/RJLS66471

Зорькин В.Д. 2013. Введение. Правовая трансформация России: вызовы и перспективы // Доктрины правового государства и верховенства права в современном мире / отв. ред. В.Д. Зорькин, П.Д. Баренбойм. Москва : ЛУМ : Юстицинформ. С. 19-75.

Ильин И.А. 1993. Собрание сочинений : в 10 т. Т. 2. Кн. 2. Москва : Русская книга. 480 с.

Ильин И.А. 1994. Собрание сочинений : в 10 т. Т. 4. Москва : Русская книга. 624 с.

Ильин И.А. 1998. Собрание сочинений : в 10 т. Т. 7. Москва : Русская книга. 608 с.

Карпов В.А. 2015. Интерпретация концепции правового государства в российском дореволюционном правоведении XIX – начала XX вв. // Право и политика. № 6. С. 892-897. DOI 10.7256/1811-9018.2015.6.15488

Крайгир М. 2013. Верховенство права (и Rechtsstaat) // Доктрины правового государства и верховенства права в современном мире / отв. ред. В.Д. Зорькин, П.Д. Баренбойм. Москва : ЛУМ : Юстицинформ. С. 470-491.

Недзел Н.Е. 2013. Верховенство права или Правовое государство: откуда мы пришли и куда мы идем? // Доктрины правового государства и верховенства права в современном мире / отв. ред. В.Д. Зорькин, П.Д. Баренбойм. Москва : ЛУМ : Юстицинформ. С. 108-148.

Пффордтен Д. 2013. Основы верховенства права и принципа правового государства (Rechtsstaat) // Доктрины правового государства и верховенства права в современном мире / отв. ред. В.Д. Зорькин, П.Д. Баренбойм. Москва : ЛУМ : Юстицинформ. С. 434-452.

- Радбрух Г. 2004. *Философия права*. Москва : Международные отношения. 238 с.
- Рувинский Р.З. 2023. Регулирование на основе данных: от верховенства права к публичным программам лояльности // *Антиномии*. Т. 23, № 1. С. 123-147. DOI 10.17506/26867206_2023_23_1_123
- Соловьев В.С. 1988. *Оправдание добра* // Соловьев В.С. *Сочинения* : в 2 т. Москва : Мысль. Т. 1. С. 47-580.
- Сухобок Т.В. 2022. Влияние зарубежных учений о социальных правах на российскую политико-правовую мысль начала XX века // *Антиномии*. Т. 22, № 4. С. 91-109. DOI 10.17506/26867206_2022_22_4_91
- Тидеманн П. 2013. Принцип Rechtsstaat в Германии // *Доктрины правового государства и верховенства права в современном мире* / отв. ред. В.Д. Зорькин, П.Д. Баренбойм. Москва : ЛУМ : Юстицинформ. С. 272-302.
- Тихомиров Ю.А. 2016. Новые векторы регулирования – «другое» право? // *Журнал российского права*. № 4. С. 5-15. DOI 10.12737/18682
- Ударцев С.Ф., Темирбеков Ж.Р. 2015. Концепции “Rule of Law” («верховенство права») и “Rechtsstaat” («правовое государство»): сравнительный анализ // *Государство и право*. № 5. С. 5-16.
- Фролова Е.А. 2012. Идеал социально-правового государства в отечественном неокантианстве (конец XIX – начало XX в.) // *Вестник Московского университета*. Серия: Право. № 1. С. 19-28.
- Фуллер Л.Л. 2007. *Мораль права*. Москва : ИРИСЭН. 308 с.
- Шарандин Ю.А., Кравченко Д.В. 2013. Верховенство права, правовое государство и другие международные правовые доктрины: лингвистические аспекты конвергенции и разграничения // *Доктрины правового государства и верховенства права в современном мире* / отв. ред. В.Д. Зорькин, П.Д. Баренбойм. Москва : ЛУМ : Юстицинформ. С. 303-311.
- Harden I., Lewis N. 1986. *The Noble Lie – the British Constitution and the Rule of Law*. London : Hutchinson. 288 p.
- Mohl R. von. 1866. *Die Polizei-Wissenschaft nach den Grundsätzen des Rechtsstaats*. Bd. 2. Tübingen : Laupp. 632 s.
- Raz J. 1979. *The Authority of Law: Essays on Law and Morality*. Oxford : Clarendon Press. 292 p.
- Stahl F.J. 1878. *Die Philosophie des Rechts*. Buch 4: Die Staatslehre und die Prinzipien des Staatsrechts. Heidelberg : Mohr. 721 s.

References

- Arkhipov S.I. The Legal Conceptions by Robert Alexy and Lon Fuller, *Elektronnoe prilozhenie k Rossijskomu juridicheskomu zhurnalu* [Electronic Supplement to “Russian Juridical Journal”], 2015, no. 6, pp. 5-16. (In Russ.).
- Dedov D.I. The Rule of Law and Legal State Doctrines as a Methodology of the Legal Philosophy, *Zorkin V.D., Barenboim P.D. (eds.) The Legal State and the Rule of Law Doctrines in Modern World*, Moscow, LUM & Justicinform, 2013, pp. 260-271. (In Russ.).
- Demin I.V. The Concept of the State in the Philosophical-Political Theories of Sergei Hessen and Ivan Ilyin: “Legal Socialism” vs. “Legal Conservatism”, *Politija* [Politeia], 2022, no. 3, pp. 28-47. (In Russ.). DOI 10.30570/2078-5089-2022-106-3-28-47
- Frolova E.A. The Ideal of a Social and Legal State in Russian neo-Kantianism (Late XIX – Early XX century), *Vestnik Moskovskogo universiteta. Serija 11: Pravo* [Moscow University Bulletin. Series 11: Law], 2012, no. 1, pp. 19-28. (In Russ.).
- Fuller L.L. *The Morality of Law*, Moscow, IRISSEN, 2007, 308 p. (In Russ.).

Grote R. The German Rechtsstaat in a Comparative Perspective, *Zorkin V.D., Barenboim P.D. (eds.) The Legal State and the Rule of Law Doctrines in Modern World*, Moscow, LUM & Justicinform, 2013, pp. 238-259. (In Russ.).

Harden I., Lewis N. *The Noble Lie – the British Constitution and the Rule of Law*, London, Hutchinson, 1986, 288 p.

Ilyin I.A. *Collected Works in 10 volumes, vol. 2, part 2*, Moscow, Russkaja kniga, 1993, 480 p. (In Russ.).

Ilyin I.A. *Collected Works in 10 volumes, vol. 4*, Moscow, Russkaja kniga, 1994, 624 p. (In Russ.).

Ilyin I.A. *Collected Works in 10 volumes, vol. 7*, Moscow, Russkaja kniga, 1998, 608 p. (In Russ.).

Karpov V.A. An Interpretation of the Concept of the Rule of Law in Russian Pre-Revolutionary Jurisprudence of the XIX – Early XX Centuries, *Pravo i politika* [Law and Politics], 2015, no. 6, pp. 892-897. (In Russ.). DOI 10.7256/1811-9018.2015.6.15488

Krygier M. Rule of Law (and Rechtsstaat), *Zorkin V.D., Barenboim P.D. (eds.) The Legal State and the Rule of Law Doctrines in Modern World*, Moscow, LUM & Justicinform, 2013, pp. 470-491. (In Russ.).

Mohl R. von. *Die Polizei-Wissenschaft nach den Grundsätzen des Rechtsstaats. Bd. 2* [Police Science According to the Principles of the Legal State. Vol. 2], Tübingen, Laupp, 1866, 632 p. (In German).

Nedzel N.E. Rule of Law v. Legal State: Where Have We Come From, Where Are We Going? *Zorkin V.D., Barenboim P.D. (eds.) The Legal State and the Rule of Law Doctrines in Modern World*, Moscow, LUM & Justicinform, 2013, pp. 108-148. (In Russ.).

Pfordten D. von der. On the Foundations of the Rule of Law and the Principle of the Legal State/Rechtsstaat, *Zorkin V.D., Barenboim P.D. (eds.) The Legal State and the Rule of Law Doctrines in Modern World*, Moscow, LUM & Justicinform, 2013, pp. 434-452. (In Russ.).

Radbruch G. *Philosophy of Law*, Moscow, Mezhdunarodnye otnosheniya, 2004, 238 p. (In Russ.).

Raz J. *The Authority of Law: Essays on Law and Morality*, Oxford, Clarendon Press, 1979, 292 p.

Ruvinskiy R.Z. Data-Driven Regulation: From the Rule of Law to Public Loyalty Programs, *Antinomii* [Antinomies], 2023, vol. 23, no. 1, pp. 123-147. (In Russ.). DOI 10.17506/26867206_2023_23_1_123

Sharandin Y.A., Kravchenko D.V. Rule of Law, Legal State, and Other International Legal Doctrines: Linguistic Aspects of Their Convergence and Differentiation, *Zorkin V.D., Barenboim P.D. (eds.) The Legal State and the Rule of Law Doctrines in Modern World*, Moscow, LUM & Justicinform, 2013, pp. 303-311. (In Russ.).

Solovyov V.S. The Justification of the Good, *Solovyov V.S. Writings in 2 volumes*, Moscow, Mysl', 1988, vol. 1, pp. 47-580. (In Russ.).

Stahl F.J. *Die Philosophie des Rechts. Buch 4: Die Staatslehre und die Prinzipien des Staatsrechts* [The Philosophy of Law. Book 4: The Doctrine of State and the Principles of State Law], Heidelberg, Mohr, 1878, 721 p. (In German).

Sukhobok T.V. The Influence of Social Rights' Foreign Teachings on the Russian Political and Legal Thought at the Beginning of the 20th Century, *Antinomii* [Antinomies], 2022, no. 4, pp. 91-109. (In Russ.). DOI 10.17506/26867206_2022_22_4_91

Tidemann P. Rechtsstaat in Germany, *Zorkin V.D., Barenboim P.D. (eds.) The Legal State and the Rule of Law Doctrines in Modern World*, Moscow, LUM & Justicinform, 2013, pp. 272-302. (In Russ.).

Tikhomirov Yu.A. New Regulation Vectors – “Alternative” Right? *Zhurnal rossijskogo prava* [Journal of Russian Law], 2016, no. 4, pp. 5-15. (In Russ.). DOI 10.12737/18682

Udartsev S.F., Temirbekov Zh.R. The Concepts of “Rule of Law” and “Rechtsstaat”: Comparative Analysis, *Gosudarstvo i pravo* [State and Law], 2015, no. 5, pp. 5-16. (In Russ.).

Vinogradov V.A. The Legal State and the Rule of Law: Doctrines, Competition of Jurisdictions, and Safeguarding of Legal Freedom. The Positions Taken by the Constitutional Court of the Russian Federation Concerning the Legal State, *Zorkin V.D., Barenboim P.D. (eds.) The Legal State and the Rule of Law Doctrines in Modern World*, Moscow, LUM & Justicinform, 2013, pp. 373-395. (In Russ.).

Zakhartsev S.I. The Victory Day in the Great Patriotic War: What the Biography of the Philosopher I.A. Ilyin Hides, *Rossiiskij zhurnal pravovyh issledovanij* [Russian Journal of Legal Studies], 2021, vol. 8, no. 2, pp. 95-102. (In Russ.). DOI 10.17816/RJLS66471

Zhukov V.N. *Russian Philosophy of Law: From Rationalism to Mysticism*, Moscow, Prospekt, 2017, 351 p. (In Russ.).

Zorkin V.D. Introduction. Russia’s Legal Transformation: Challenges and Perspectives, *Zorkin V.D., Barenboim P.D. (eds.) The Legal State and the Rule of Law Doctrines in Modern World*, Moscow, LUM & Justicinform, 2013, pp. 19-75. (In Russ.).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Николай Александрович Шавеко

кандидат юридических наук, научный сотрудник Института государства и права Российской академии наук, г. Москва, Россия;
ORCID: 0000-0002-5481-7425;
ResearcherID: K-4637-2018;
SPIN-код: 3004-0891;
E-mail: shavekonikolai@gmail.com

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Nikolai A. Shaveko

Candidate of Law, Researcher, Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia;
ORCID: 0000-0002-5481-7425;
ResearcherID: K-4637-2018;
SPIN-code: 3004-0891;
E-mail: shavekonikolai@gmail.com



Балакаев В.Д. Национальная идентичность против международного права: анализ практики органов конституционного контроля // Антиномии. 2024. Т. 24, вып. 3. С. 131-155. https://doi.org/10.17506/26867206_2024_24_3_131

УДК 340.5

DOI 10.17506/26867206_2024_24_3_131

Национальная идентичность против международного права: анализ практики органов конституционного контроля

Виктор Дмитриевич Балакаев

Институт государства и права Российской академии наук

г. Москва, Россия

E-mail: balakaev.work@gmail.com

*Поступила в редакцию 01.09.2024, поступила после рецензирования 17.09.2024,
принята к публикации 18.09.2024*

Проблема защиты национальной идентичности от внешних угроз стоит особенно остро для государств, намеревающихся взять на себя основную роль в формировании многополярного мира, в том числе России. Рассмотрение данного вопроса возможно через призму не только политической науки, но и юриспруденции. И здесь наблюдается любопытный парадокс. Защита национальной идентичности с правовой точки зрения сводится к защите конституционного строя (он, как правило, отражает ценности, на которых зиждется национальная идентичность) от применения несовместимых с ним международных договоров, исполнения конфликтующих с ним актов международного правосудия, нормативных предписаний международных судов и т.д. Однако процесс перехода к многополярному миру в любом случае будет подчиняться требованиям современного международного права. Соответственно, важной задачей российской юридической науки становится разработка новых способов защиты национальной идентичности, согласующихся с международным правом. Решение данной задачи требует обобщения соответствующего опыта других государств. Автор статьи на основе сравнительно-правового метода анализирует практику органов конституционного контроля Германии, Франции, Италии, Бразилии, Казахстана и России, где фигурирует аргумент, связанный с защитой национальной идентичности, или созвучные аргументы (например, защита исторической самобытности в бразильском дискурсе). Это позволяет говорить о том, что данный аргумент присутствует в том или ином виде во всех рассмотренных юрисдикциях, даже в лояльных к международному праву (Германия, Франция). При этом встречаются спорные с позиций международного права аргументы и приемы защиты идентичности (например, перекавалификация международно-правового



© Балакаев В.Д., 2024

акта с обязательного на рекомендательный в Италии или апостериорное признание международного договора неконституционным в Казахстане). Констатируется необходимость разработки для России иных способов защиты национальной идентичности, которые позволят обеспечить разумный баланс с исполнением международных обязательств.

Ключевые слова: национальная идентичность, конституционная идентичность, конституция, конституционный суд, международное право

Благодарности: Исследование выполнено за счет гранта Минобрнауки России в форме субсидий из федерального бюджета на проведение крупных научных проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития (соглашение от 12 июля 2024 г. № 075-15-2024-639).

National Identity vs International Law in the Practice of Constitutional Control Bodies

Viktor D. Balakaev

Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences

Moscow, Russia

E-mail: balakaev.work@gmail.com

Received 01.09.2024, revised 17.09.2024, accepted 18.09.2024

Abstract. The defense of national identity against external threats is a pressing issue for states, that aim to play a major role in shaping a multipolar world, including Russia. This issue can be examined not only from a political perspective but also through a legal lens, where an interesting paradox arises. From a legal standpoint, the defense of national identity comes down to the protection of the constitutional order (which typically reflects the values underlying the national identity) against the application of international treaties, the enforcement of conflicting international judicial decisions, and the normative prescriptions of international courts, among other factors. However, the transition to a multipolar world will inevitably be regulated by the principles of modern international law. Therefore, a key task for Russian legal science is to develop new mechanisms for protecting national identity in a way that aligns with international law. It requires drawing on the experience of other countries. Using a comparative legal method, the article analyzes the practice of constitutional control bodies in Germany, France, Italy, Brazil, Kazakhstan, and Russia, where the argument in defense of national identity and related concepts (for example, the protection of historical identity in Brazil) have emerged. The author reveals that this argument occurs in its different forms across all the examined jurisdictions, even in those that are generally more aligned with international law (such as Germany and France). Some mechanisms for protecting identity are controversial from the standpoint of international law (e.g. qualification of international treaties as soft-law acts in Italy or international treaty termination *a posteriori* by the constitutional control body in Kazakhstan). The article concludes that Russia must develop alternative methods for protecting its national identity striking a reasonable balance with fulfilling its international obligations.

Keywords: national identity, constitutional identity, constitution, constitutional court, international law

Acknowledgements: The research was carried out at the expense of a grant from the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation in the form of subsidies from the federal budget for major scientific projects in priority areas of scientific and technological development (Agreement No. 075-15-2024-639, dated July 12, 2024).

For citation: Balakaev V.D. National Identity vs International Law in the Practice of Constitutional Control Bodies, *Antinomies*, 2024, vol. 24, iss. 3, pp. 131-155. (In Russ.). https://doi.org/10.17506/26867206_2024_24_3_131

Постановка проблемы

Советский философ А.А. Богданов, занимавшийся в 1920-е гг. разработкой тектологии, или всеобщей организационной науки, полагал, что истинный прогресс «выражается в возрастании многообразия и разносторонности» форм жизни (Богданов 1989: 277). И это вполне объяснимо: в случае глобальной катастрофы залогом продолжения жизни станет не количество особей, а разнообразие форм: чем больше таковых, тем выше шанс, что хотя бы какая-то их часть окажется способной существовать в резко изменившихся условиях. Очевидно, что при доминировании одной или незначительного числа форм жизни, то есть в условиях низкой степени разнообразия, катастрофическое изменение внешней среды с большей степенью вероятности приведет к гибели всего живого.

Данный биологический пример вполне может быть экстраполирован на социальную и политико-правовую реальность. В условиях глобализации и универсализации, нередко посягающих на самобытные, исторически сложившиеся устои отдельных обществ, у субъектов международной коммуникации растет потребность в выработке и защите собственной идентичности, особенно перед лицом тех, кто является проводником деструктивных для них идей и нарративов. Кроме того, исследователи определяют защиту национальной (в некоторых интерпретациях – государственной) идентичности как немаловажный фактор успешного построения многополярного мира (Золкин 2016: 38). Российская Федерация выступает не только сторонником подобного подхода, но и видит себя одним из суверенных центров этого процесса¹. Действительно, сохранение однополярного мира, где доминирует воля одного политического актора или их группы, представляет угрозу мировому многообразию, залогом сохранения которого является историческая самобытность и идентичность обществ. Поэтому защита национальной идентичности становится особенно актуальной задачей в процессе построения многополярного мира.

¹ П. 5 Концепции внешней политики Российской Федерации. См.: Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2023 г. № 229 «Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации». URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/49090> (дата обращения: 28.08.2024).

Однако в любом случае выстраивание эффективных защитных механизмов и приведение релевантных аргументов в защиту идентичности невозможно без четкого ответа на вопрос, что именно следует защищать. Несмотря на то, что на первый взгляд ответы кажутся совершенно разными, контекстуально они синонимичны и сводятся к тому, что защите подлежит более-менее определенный комплекс наиболее важных ценностей, которые конституируют общество, образуют основу его государственности и задают основные параметры его существования.

Социальные, культурные и политические аспекты понятия «национальная идентичность» оказывают существенное влияние на правовое регулирование. И поскольку в объем данного понятия входят столь важные для общества и государства ценности, они нуждаются не только в особой правовой охране, но и в обособлении от других охраняемых законом ценностей посредством придания защищающим их нормам повышенной (если не высшей) юридической силы. Таким требованиям отвечают конституционно-правовые нормы. Вероятно, по этой причине конституционное право регулярно оперирует понятием «ценности» (Белов 2024: 73), причём не только в теоретическом, но и сугубо практическом дискурсе.

С учетом изложенного вопрос о правовых инструментах защиты национальной идентичности от внешних угроз и идеологических искажений в условиях становления многополярного мира получает неожиданно знакомое прочтение. Можно сказать, что он лежит в плоскости соотношения национальных правовых норм и международно-правовых актов (международно-правовых норм и актов органов международного правосудия). Для такого прочтения есть как минимум три обоснования.

Во-первых, тезисы о национальной идентичности семантически созвучны со ссылками на международно-правовой принцип невмешательства во внутренние дела (имеется в виду, что ценности, составляющие национальную идентичность, являются внутренним делом государства), которые сегодня чаще всего звучат в контексте применения государствами односторонних ограничительных мер (санкций). Об этом говорится, в частности, в российско-китайской² и российско-иранской³ декларациях, где экстерриториальное применение национального права оценивается как нарушение принципа невмешательства во внутренние дела государства.

Очевидно, что в фокусе внимания находятся не политические соображения, а именно международное право: на него ссылаются и санкционирующие субъекты (полагая санкции правомерными), и субъекты, подвергающиеся санкциям (считая их, разумеется, неправомерными). В связи

² Декларация Российской Федерации и Китайской Народной Республики о повышении роли международного права, 25 июня 2016 г. URL: https://www.mid.ru/foreign_policy/position_word_order/1530748/ (дата обращения: 28.08.2024).

³ Declaration by the Russian Federation and the Islamic Republic of Iran on the Ways and Means to Counter, Mitigate and Redress the Adverse Impacts of Unilateral Coercive Measures, 5 December 2023. URL: https://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/1919257/ (дата обращения: 28.08.2024).

с этим критике подвергаются и международные организации, образующие архитектуру современного международного права (Абашидзе 2024: 121).

Во-вторых, аргументы о необходимости защиты национальной идентичности активно используют органы конституционного контроля и иные органы национального правосудия в ситуациях, когда отдельные решения международных судов противоречат конституции или иным нормам национального права. Но в то же время по тем или иным причинам международный договор, на основании которого действует этот суд, является выгодным для государства, что сдерживает его от денонсации или дерогации. Российская Федерация не является исключением в этом контексте. Особый исследовательский интерес представляют ситуации, когда международные юрисдикционные органы выносят в адрес государства нормативные предписания – обязательные к исполнению указания государству об изменении национального законодательства и приведении его в соответствие с международными обязательствами.

В-третьих, наша страна провозглашает намерение быть одним из ключевых участников международного общения, заявляя о приверженности Уставу ООН и принципам международного права. Чтобы оставаться таковым и впредь, Россия должна выстраивать коммуникацию в соответствии с требованиями действующего международного права.

Таким образом, проблему защиты национальной идентичности уместно и необходимо рассматривать не только с политической, но и правовой точки зрения. В связи с этим целью настоящего исследования является анализ аргументов, которые используются (либо могут использоваться) для защиты национальной идентичности от внешних угроз, в том числе воплощенных в международно-правовых актах, противоречащих конституции страны. Ключевую роль в этом обычно играют органы конституционного контроля, призванные обеспечивать верховенство конституции – нормативного акта, который аккумулирует положения, составляющие идентичность того или иного общества, на основе которого возникло государство. Соответственно, вопрос о защите идентичности перед лицом международного права уместно рассмотреть именно через призму их практики⁴.

Защита национальной (конституционной) идентичности: что защищать и от чего?

Ценностям, составляющим национальную идентичность, как правило, придается конституционно-правовое значение, и они обеспечиваются соответствующей правовой защитой, поэтому ученые-конституционалисты используют понятие «конституционная идентичность». П.Д. Блохин отмечает, что данный феномен можно понимать, с одной стороны, как

⁴ Такая конвергенция представлений о национальной идентичности и конституционных основах государства обусловлена юридическим характером исследования и, прежде всего, аргументами органов конституционного контроля, выдвигаемыми в защиту национальной (конституционной) идентичности.

культурный код нации, зашифрованный в конституционных нормах, неписанных принципах, судебных доктринах, с другой – как разделы и положения конституции, которые с трудом поддаются изменению (Блохин 2018: 76-77). Более позитивистский подход предлагает Д.Г. Шустров, говоря о том, что конституционная идентичность представляет собой «фундаментальное качество конституции, свидетельствующее о ее самоидентичности» (Шустров 2020а: 25-26).

Исходя из этого, в рамках настоящего исследования национальную идентичность предлагается понимать достаточно узко – как систему наиболее фундаментальных ценностей, принципов и мировоззренческих установок, характерных для определенного общества, в том числе тех, которые по своей природе могут выступать регулятором общественных отношений, а потому находят свое выражение в правовых нормах, принятых и действующих в государстве, основу которого образует данное общество, а именно закреплены в нормативных актах наибольшей юридической силы (как правило, в конституции)⁵. Ответ на вопрос, что именно предстоит защищать, может быть обнаружен в системе действующего правового регулирования, однако ответ на вопрос, от чего именно это нужно защищать, не так очевиден.

Как утверждает, проводником ряда внешних угроз, а также идеологических и исторических искажений может являться международное право. Но действительно ли такие угрозы реальны с учетом отсутствия в нем централизованных механизмов принуждения к исполнению норм, а также того факта, что сами государства вольны соглашаться либо не соглашаться на обязательность для себя тех или иных положений? Насколько обоснованно ставить вопрос о необходимости защиты национальной идентичности от международных актов, способных нести для нее угрозу, если сама по себе обязательность таких актов является продуктом волевого решения государства, выразившего свое согласие? Соответственно, государство таким же волевым решением вправе не выражать согласия (отозвать ранее выраженное) на обязательность для себя тех международно-правовых актов, которые хотя бы потенциально могут угрожать идентичности общества.

Прежде всего, стоит учитывать, что выгоды, которые сулит государству участие в международном договоре, могут значительно перевешивать «неудобства», вызванные отдельными эпизодами толкования, которое значительно отступает от буквального смысла договора. В такой ситуации государство посредством преимущественно инструментов конституционного контроля, скорее всего, предпримет попытку обосновать отказ от следова-

⁵ Следует учитывать, что данное определение рискует оказаться неполным, если рассматривать национальную идентичность в более широком (социальном, политическом, культурном) контексте. В этом случае ее трактуют как систему представлений о коллективном прошлом и общем будущем (Титов 2021: 13), как устойчивый нарратив об истории национального сообщества, формирующий общие (разделяемые большинством) представления группы о самой себе и объединяющих общепризнанных ценностях (Лубенец 2022: 73) и т.д.

ния не международному договору в целом, а его конкретному толкованию (например, в связи с решением международного суда, в котором дано такое толкование), обосновывая это в том числе защитой национальной идентичности и другими схожими аргументами.

Кроме того, «международно-правовое пространство», где воля государства является единственным условием возникновения у него тех или иных международных обязательств, в настоящее время сужается. Изначально международное право стояло на сугубо позитивистских позициях. В основе классического позитивизма лежит учение немецкого юриста Г. Трипеля, согласно которому право является продуктом воли (Triepel 1899: 28-30), а международное право – продуктом согласования свободных волеизъявлений государств (Triepel 1899: 74-76), что в англоязычной доктрине получило известность как теория самоограничения (auto-limitation theory) (Shaw 2008: 9). Особенно живой отклик международно-правовой позитивизм Г. Трипеля нашел в отечественной международно-правовой науке в лице волюнтаристской теории международного права Г.И. Тункина, согласно которой согласованность и взаимообусловленность воль государств являются двумя существенными чертами процесса создания норм международного права (Мюллерсон, Тункин 1989: 184-187).

Примечательно, что созвучные позиции встречаются в большинстве российских учебных изданий по международному праву и сегодня. Так, в учебнике, подготовленном Высшей школой права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, отмечается, что «нормы международного права являются продуктом согласования воль соответствующих субъектов международного права» (Бекашев 2021: 32). Такое положение дел можно емко охарактеризовать словами видного представителя позитивистской школы Г. Еллинека: «Международное право существует для государств, но никак не государства – для международного права» (Jellinek 1921: 377).

Однако современное международное право такой характеристике уже не соответствует. Наблюдается целый ряд «внеконсенсуальных» изменений, которые лишь косвенно зависят от волеизъявления государств либо не зависят от него вовсе. Одной из таковых является ситуация, когда международный суд придает положениям международного договора, на основании которого он действует, неочевидное толкование, особенно когда речь идет о толковании, способном породить новые международно-правовые обязательства государств без выработки новой нормы международного права. С этой точки зрения, например, эволютивное толкование Конвенции о защите прав человека и основных свобод⁶ (далее – Европейская конвенция) со стороны Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) вызывает весьма сдержанные оценки даже его судей (Ковлер 2016: 98-99) и провоцирует возражения органов национальной юстиции, в том

⁶ Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on Human Rights), Rome, 4 November 1950. URL: https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_eng (дата обращения: 28.08.2024).

числе со ссылкой на национальную (конституционную) идентичность⁷ и необходимость ее уважения (Панкевич 2023: 154). Судья ЕСПЧ в отставке А. Нуссбергер, разделяя необходимость восприятия Конвенции как «живого инструмента», одновременно подчеркивает, что она не является «черным ящиком», случайным образом заполненным новым содержанием» (Нуссбергер 2022: 104). Аналогичные позитивистские возражения встречается и «активизм» Межамериканского суда по правам человека (МАСПЧ)⁸.

Другим характерным примером выступает возникновение в международном праве последних десятилетий феномена нормативных предписаний международных юрисдикционных органов. Их предлагается понимать как обязательное к исполнению указание международного юрисдикционного органа, адресованное государству, на необходимость принять меры по внесению изменений в действующее правовое регулирование для устранения выявленного нарушения международного права. Очевидно, что подобное предписание также является продуктом толкования международного договора, из которого вытекают обязательства государств-участников и императив об обязательности для них решений суда, контролирующего исполнение государствами этих обязательств. Недаром профессор Лундского университета У. Линдерфальк называет решения международных судов основным продуктом толкования международных договоров (Linderfalk 2015: 172).

Конечно, если международный суд решит, что существование и применение того или иного национального нормативного акта приводит к нарушению международных обязательств государства, такой вывод будет иметь лишь констатационную природу и сам по себе не сможет оказать корректирующее воздействие на национальное право (проще говоря, отменить этот акт). Однако международный суд не лишен возможности сформулировать нормативное предписание государству, что будет требовать от последнего активных действий. Разумеется, такие предписания могут затрагивать и, как правило, затрагивают вопросы национальной (конституционной) идентичности.

⁷ Так, Конституционный Суд РФ в 2016 г. прямо указал, что эволютивное толкование Европейской конвенции должно иметь достаточные основания, подтвержденные согласием (прямым или подразумеваемым) государств-участников в отношении соответствующих стандартов. Данный тезис Суд предварил рассуждениями о том, что эффективность норм Конвенции в российском правовом порядке во многом зависит от уважения со стороны ЕСПЧ национальной конституционной идентичности. См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2016 г. № 12-П. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197028/?ysclid=m1ck6v5vcx215686082 (дата обращения: 28.08.2024).

⁸ Критика сводится к тому, что МАСПЧ, будучи продуктом первоначально-го волеизъявления государств – членов Организации американских государств (ОАГ), не вправе расширять свою компетенцию и создавать новые нормы «межамериканского права» (Malarino 2012: 673-676). Восприятие деятельности МАСПЧ как вконсенсуальной и противоречащей воле государств подтверждается и тем, что государства – члены ОАГ, признавшие компетенцию Суда, нередко отказываются в приведении в исполнение его решений, в том числе по мотивам их противоречия конституционной идентичности (Николаев, Давтян 2018: 44-45).

В целом, как пишет С.А. Голубок, современное международное право все в меньшей степени опирается на позиции государств в тех или иных вопросах: «...международные суды... чаще и чаще стараются “разглядеть” общие принципы права на уровне уже не правовых систем отдельных государств, а международных судебных учреждений» (Голубок 2011: 8). В связи с этим приведенные выше слова Г. Еллинека начинают утрачивать свою актуальность.

На этом фоне государства не просто отказываются признавать обязательность решений отдельных юрисдикционных органов⁹, а избирательно отстраняются от исполнения вынесенного в их адрес нормативного предписания, даже после выражения своего согласия с международным договором, обязывающим исполнять решение международного суда. Центральную роль в сопутствующем аргументативном дискурсе играют различные по форме, но схожие по содержанию аргументы, которые так или иначе восходят к необходимости защиты национальной идентичности от внешних угроз и идеологических искажений. Анализ этих аргументов и правовых концепций, используемых высшими судами различных стран, будет представлен в следующем разделе настоящего исследования.

От теории к практике: защита национальной идентичности в разных странах

Исследование сосредотачивается на анализе практики высших судов (главным образом органов конституционного контроля) Германии, Франции, Италии, Бразилии, Казахстана и России. Эмпирическая база исследования сформирована именно таким образом неслучайно. В перечисленных государствах реализуются различные модели конституционного контроля (европейская модель централизованного конституционного контроля в России, Италии и Казахстане, квазисудебная модель во Франции, децентрализованная модель в Бразилии) и существуют разные конституционно-правовые традиции. Кроме того, эти государства отличаются политическими режимами и моделью государственного устройства в целом, что не может не сказаться на их подходах к определению и защите национальной идентичности. Однако, несмотря на различия, конституционно-контрольная практика в этих юрисдикциях оперирует созвучными аргументами, выдвигаемыми в защиту национальной идентичности либо применяемыми в указанных целях.

⁹ С такой проблемой сталкиваются договорные органы ООН по защите прав человека, поскольку их акты, выносимые по результатам рассмотрения индивидуальных сообщений о нарушениях, не признаются в качестве обязательных целым рядом государств. Например, Высший избирательный суд Бразилии в 2018 г. отказался следовать предписаниям Комитета по правам человека ООН, квалифицировав его как административный орган, предписания которого по своей правовой природе не могут создавать международно-правовых обязательств для государства. См.: Tribunal Superior Eleitoral. Acórdão de 30 de agosto de 2018. Registro de Candidatura (11532) Nº 0600903-50.2018.6.00.0000. URL: <https://www.conjur.com.br/dl/vo/voto-barroso-inelegibilidade-lula.pdf> (дата обращения: 28.08.2024).

Германия. Практика Федерального Конституционного суда (ФКС) Германии показывает, что национальная юрисдикция достаточно чувствительна к посягательствам на конституционную идентичность, а потому Суд по общему правилу исходит из того, что международное право само по себе не предполагает безусловного верховенства в национальной системе права. Этот вывод сделан на основе ст. 24 и 25 Основного закона ФРГ, которые хотя и предполагают возможность передачи части суверенных полномочий межгосударственным образованиям и закрепляют приоритет общепризнанных норм международного права над национальными законами, однако ни в коем случае не диктуют отказа от «немецкой конституционной идентичности»¹⁰. Здесь следует сделать две важные оговорки.

Во-первых, отрицание Судом безоговорочного приоритета норм международного договора не означает абсолютную недопустимость или бессмысленность его имплементации в национальную систему права. Однако это допустимо лишь в случае, если договор предусматривает по меньшей мере такой же объем гарантий прав и свобод человека и гражданина, что и Основной закон¹¹. В данной позиции находит отражение общепринятый принцип, согласно которому международный договор не должен приводить к снижению уровня защиты прав человека, заданного национальным правом.

Однако это не лишает государство инструментов по защите национальной идентичности. Дело в том, что имплементация действующих международно-правовых обязательств зачастую зависит не столько от содержания имплементируемых норм, сколько от конкретных мер, принятых законодателем в рамках этой имплементации. ФКС Германии сталкивался с ситуациями, когда международный договор противоречил Основному закону не в силу своего содержания, а по «вине» законодателя, который осуществил его имплементацию «неправильно». Так, Суд признал неконституционным федеральный закон о европейском ордере на арест, принятый во исполнение соответствующего Рамочного решения Совета Европейского союза 2002 г., поскольку законодатель не обеспечил достаточный уровень правовой защиты немецких граждан. В частности, они лишались возможности обжаловать разрешение на их выдачу другому государству, а само государство обязывалось осуществить выдачу даже в том случае, если уголовное дело уже возбуждено или прекращено на территории Германии¹². Неконституционным признано и положение закона о европейских выборах, устанавливавшее пятипроцентный заградительный барьер на выборах в Европарламент. ФКС Германии, основываясь на учредительных договорах

¹⁰ Bundesverfassungsgericht (BVerfG). Beschluß des Zweiten Senats vom 22. Oktober 1986. 2 BvR 197/83. URL: <https://www.servat.unibe.ch/dfr/bv073339.html> (дата обращения: 28.08.2024).

¹¹ Ibid.

¹² BVerfG. Urteil des Zweiten Senats vom 18. Juli 2005. 2 BvR 2236/04. URL: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2005/07/rs20050718_2bvr223604.html (дата обращения: 28.08.2024).

Европейского союза, пришел к выводу, что они не содержат оснований для ограничения равенства в пассивном избирательном праве, которое непропорционально допустил немецкий законодатель, устанавливая барьер¹³.

Во-вторых, Суд может использовать и другие аргументы. Так, признавая соответствующей Основному закону ситуацию, при которой Бундестаг пересматривает международные обязательства, принятые парламентом предыдущего созыва¹⁴, он ссылался на принципы «отменяемости договоров» (§ 50аа) и «демократической воли» (§ 53), которые, по всей видимости, вполне пригодны для защиты национальной идентичности.

Другую точку зрения высказывает профессор С. Кадельбах, согласно которой данные аргументы не подлежат применению в ситуациях, когда международный договор затрагивает права человека и когда отказ от него чреват снижением прежнего уровня правовой защиты личности (Kadelbach 2019). Хотя практика ФКС Германии и оперирует аргументами по защите национальной идентичности, в то же время оговаривается, что органы власти, в том числе суды, должны принимать все усилия для устранения противоречий норм национального права и международного договора. Согласно принципу дружелюбного отношения к международному праву (*Völkerrechtsfreundlichkeit*)¹⁵ правоприменитель обязан толковать закон, в том числе Основной закон, таким образом, чтобы он не противоречил договору, даже если по буквальному смыслу такое противоречие имеется¹⁶. Иными словами, национальная идентичность должна получать такое прочтение, которое не противоречит международному праву.

Данный принцип был применен, например, при разрешении вопроса об исполнении Постановления ЕСПЧ по делу «Гергюлю против Германии». Суд рассматривал возможность передачи заявителю его внебрачного ребенка, ранее усыновленного третьими лицами в отсутствие его согласия, и на пути к решению столкнулся с коллизией позиций немецкого законодателя и ЕСПЧ (последний настаивал на необходимости воссоединения заявителя со своим ребенком). Среди прочего Суд отметил, что решения ЕСПЧ «имеют особое значение для конвенционного права как права

¹³ BVerfG, 09.11.2011 – 2 BvC 4/10, 2 BvC 6/10, 2 BvC 8/10. URL: <https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=BVerfG&Datum=09.11.2011&AkAktenzeich=2%20BvC%204%2F10> (дата обращения: 28.08.2024).

¹⁴ BBVerfG. Beschluss des Zweiten Senats vom 15. Dezember 2015. 2 BvL 1/12. URL: https://www.tk-lex.tk.de/web/guest/externalcontent?_leongshared_serviceId=2007&_leongshared_externalcontentid=HI9065283 (дата обращения: 28.08.2024).

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Подобный метод, именуемый «гармонизирующим толкованием» норм национального и международного права, достаточно распространен в мировой конституционно-контрольной практике. В частности, он используется Верховным судом США (где именуется *Charming Betsy Doctrine*) и Верховным судом Канады. См.: U.S. Supreme Court. *Murray v. The Charming Betsy*. 6 U.S. (2 Cranch) 64 (1804). URL: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/6/64/>; Supreme Court of Canada. *R. v. Hape*. 2 SCR 292 (2007). URL: <https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/2364/index.do> (дата обращения: 28.08.2024).

международных договоров, поскольку отражают текущее состояние развития Конвенции и протоколов к ней»¹⁷. Тем самым было подтверждено, что следование правовым позициям ЕСПЧ является формой исполнения международных обязательств государства по Конвенции. Справедливости ради стоит отметить, что и в этом деле ФКС Германии не смог полностью абстрагироваться от влияния господствующего аргументативного дискурса, подчеркнув, что даже европейское право «подпадает под действие *оговорки о суверенитете* (выделено нами. – В.Б.), хотя и значительно урезанной»¹⁸. Данная оговорка способна функционально корреспондировать оговорке о национальной (конституционной) идентичности Германии.

Исходя из изложенного, можно заключить, что в немецкой юриспруденции обнаруживаются различные варианты аргумента, связанного с защитой национальной идентичности, однако они не могут применяться автоматически и в любом случае должны учитывать принцип *Völkerrechtsfreundlichkeit*.

Франция. Конституционный совет (КС) Франции также аргументирует некоторые свои решения защитой национальной идентичности, например, при разрешении вопросов гармонизации положений национального права и права Европейского союза¹⁹, а также в ходе предварительного контроля конституционности международных договоров. Договор не будет допущен до ратификации, когда он противоречит не только действующей редакции Конституции²⁰, но и «основным условиям осуществления национального суверенитета» (*conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale*), что созвучно с защитой национальной идентичности. Такими условиями в разное время признавались, например, право граждан Франции на амнистию по французскому праву независимо от юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), право французских должностных лиц присутствовать при проведении следственных мероприятий международных должностных лиц²¹, неприкосновенность полномочий Франции в рамках

¹⁷ BVerfG. Beschluss des Zweiten Senats vom 14. Oktober 2004. 2 BvR 1481/04. § 38. URL: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2004/10/rs20041014_2bvr148104.html (дата обращения: 28.08.2024).

¹⁸ Ibid. § 36.

¹⁹ Conseil constitutionnel. Decision no. 2017-749 DC of 31 July 2017. URL: <https://www.conseil-constitutionnel.fr/en/decision/2017/2017749DC.htm> (дата обращения: 29.08.2024).

²⁰ На этом основании, в частности, первоначально не был допущен к ратификации Римский статут 1998 г., учреждающий Международный уголовный суд. КС Франции пришел к выводу, что в части нейтрализации иммунитетов президента, членов правительства и парламентариев от уголовного преследования Статут противоречит ст. 26, 68 и 68¹ Конституции страны. См.: Conseil constitutionnel. Decision no. 98-408 DC of 22 January 1999. URL: <https://www.conseil-constitutionnel.fr/en/decision/1999/98408DC.htm> (дата обращения: 29.08.2024).

²¹ Conseil constitutionnel. Decision no. 98-408 DC of 22 January 1999. URL: <https://www.conseil-constitutionnel.fr/en/decision/1999/98408DC.htm> (дата обращения: 29.08.2024).

Европейского союза²². Если КС Франции придет к выводу о наличии угрозы подобным условиям, выражение согласия на международный договор будет невозможным без предварительного пересмотра Конституции.

Более того, международный договор не пройдет конституционный контроль, если его положения ставят под сомнение права и свободы, предусмотренные Конституцией. Именно это стало камнем преткновения при проверке Маастрихтского договора 1992 г.: КС Франции считал неприемлемым расширение конституционных границ пассивного избирательного права на муниципальных выборах, тогда как Договор предполагал его предоставление всем гражданам Евросоюза²³. Другим примером является Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств 1992 г., ратификацию которой КС Франции также заблокировал. В этом деле было признано неконституционным положение, согласно которому в сфере общественной жизни, в том числе на государственной службе, помимо государственного (французского) языка может использоваться любой язык национальных меньшинств. Примечательно, что Совет не преминул сослаться на принцип государственного единства, который, по его оценкам, мог быть подорван ратификацией Хартии²⁴.

Таким образом, КС Франции прибегает к защите национальной идентичности, аргументируя свои решения, в частности, основными условиями осуществления национального суверенитета и принципом государственного единства. Это применяется и в ситуациях, когда речь идет о проверке международно-правовых актов, расширяющих гарантии прав и свобод человека.

Италия. Обзор итальянской конституционно-контрольной практики по защите Конституции от не соответствующих ей международно-правовых актов следует начать с того, что в системе итальянского права имеется достаточное количество эффективных инструментов для согласования норм национального и международного права. Так, Конституционный

²² Со ссылкой на последнее условие КС Франции посчитал недопустимой, например, ратификацию Договора, учреждающего Конституцию для Европы (2004 г.), поскольку он предусматривал передачу целого ряда государственных полномочий на уровень институтов ЕС, при этом Совет не удовлетворила даже апелляция к принципу subsidiarity европейского права. Ранее он пришел к тем же выводам в ходе предварительной проверки Амстердамского договора 1997 г., который предполагал передачу полномочий по регулированию режимов убежища, иммиграции и пересечения внутренних границ на уровень ЕС. См.: Conseil constitutionnel. Decision no. 2004-505 DC of 19 November 2004. § 24–25. URL: <https://www.conseil-constitutionnel.fr/en/decision/2004/2004505DC.htm>; Conseil constitutionnel. Decision no. 97-394 DC of 31 December 1997. URL: <https://www.conseil-constitutionnel.fr/en/decision/1997/97394DC.htm> (дата обращения: 29.08.2024).

²³ Conseil constitutionnel. Decision no. 92-308 DC of 9 April 1992. URL: <https://www.conseil-constitutionnel.fr/en/decision/1992/92308DC.htm> (дата обращения: 29.08.2024).

²⁴ Conseil constitutionnel. Decision no. 99-412 DC of 15 June 1999. URL: <https://www.conseil-constitutionnel.fr/en/decision/1999/99412DC.htm> (дата обращения: 29.08.2024).

суд (КС) Итальянской Республики ожидаемо артикулировал особую роль Европейской конвенции для европейских государств, однако, например, в отличие от Конституционного суда Австрии²⁵, отказался придавать ей силу конституционного закона. Тем не менее это не помешало КС Италии придать конвенционным правам конституционное значение на национальном уровне с учетом принципа разумного баланса между обязательствами по европейскому праву и «защитой конституционно значимых интересов»²⁶, иными словами, итальянской конституционной идентичности. Данный подход был назван в науке «концепцией промежуточного масштаба» (Paris, Oellers-Frahm 2016), что вполне понятно: при таких условиях нарушение права, предусмотренного международным договором, в «масштабах» конституционного контроля эквивалентно косвенному нарушению Конституции.

В одном из последующих решений КС Италии продолжил следовать этой логике, отметив, что хотя возникновение противоречий между конвенционным правом и Конституцией не исключено, их надлежит преодолевать расширительным толкованием конституционных норм, результатом чего должно стать предоставление Конституцией уровня защиты не меньшего, чем предусмотрено международным договором. Исходя из этого, КС Италии с подачи ЕСПЧ признал конституционно дефектными положения законодательства о пенсионном обеспечении, нарушившие конвенционные права заявителей²⁷. В этом смысле невооруженным глазом видно влияние практики немецкого конституционного контроля, применяющего крайне схожие доктрины.

²⁵ В правовом порядке Австрии Европейская конвенция по своему юридическому значению приравнивается к конституционному закону. Такое решение отчасти является интуитивным, поскольку Конвенция образует для европейских стран основу гуманитарного правового порядка. Вместе с тем это свидетельствует об уважении австрийской системы к международному праву. Анализ практики КС Австрии подтверждает этот тезис и в целом свидетельствует о монистическом подходе к международным договорам. Нередки случаи, когда Суд корректирует конституционные стандарты и собственную практику под влиянием эволютивного толкования Европейской конвенции со стороны ЕСПЧ. Именно так, например, в праве Австрии понятие «лишение свободы» приобрело автономный характер, и соответствующие процессуальные гарантии стали предоставляться произвольно задержанным в транзитных зонах аэропортов. См.: Verfassungsgerichtshof. Entscheidungen ZfVB 2000/898: VfGH 11.3.1999, B 1159 – 1161/98. URL: <https://rdb.manz.at/document/rdb.tso.CEzfvb200001932> (дата обращения: 29.08.2024).

²⁶ Corte costituzionale. Judgment no. 348 of 22 October 2007. URL: https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/doc/recent_judgments/S348_2007_Eng.pdf (дата обращения: 29.08.2024)

²⁷ Примечательно, что Конституционный Суд России, делая в своем Постановлении от 14 июля 2015 г. № 21-П обзор практики зарубежных органов конституционного контроля по вопросу проверки возможности исполнения решений ЕСПЧ, ссылался на это решение, несмотря на итоговую резолюцию КС Италии, где тот все-таки согласился с позицией ЕСПЧ. См.: Corte costituzionale. Sentenza 264/2012. URL: <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&numero=264> (дата обращения: 29.08.2024).

Однако практика показывает, что данная доктрина может применяться и для достижения обратного эффекта, в том числе для защиты национальной идентичности. Именно в рамках «концепции промежуточного масштаба» КС Италии прибегал к «переквалификации» международных договоров в целях понижения их юридической силы. Например, обосновывая верховенство Конституции над Хартией основных прав Европейского союза 2000 г. и отказываясь рассматривать последнюю в качестве «промежуточного масштаба» конституционного нормоконтроля, КС Италии квалифицировал ее лишь как «программный документ», не являющийся *sensu stricto* юридически обязательным²⁸.

Суд применяет и другие правовые инструменты, пригодные для защиты национальной идентичности. Так, он самостоятельно определяет, насколько «устоялась» позиция ЕСПЧ, подлежащая применению преимущественно перед итальянским законодательством. Только устоявшаяся практика ЕСПЧ способна делать толкование Европейской конвенции обязательным для итальянского государства. Любопытно, что при оценке состояния этой практики КС Италии выделил целый ряд необычных критериев: вынесено ли решение Большой палатой ЕСПЧ или иным составом суда, сколько судей не согласились с окончательным решением (количество особых мнений), противоречит ли решение предшествующей практике ЕСПЧ и т.д.²⁹ Стоит заметить, что именно в этом контексте в европейском конституционно-судебном дискурсе впервые прозвучала концепция конструктивного диалога между национальной юрисдикцией и европейским правопорядком, которую немногим позже разделит и Конституционный Суд Российской Федерации в целях защиты конституционной идентичности³⁰.

Примечательно также, каким образом КС Италии отреагировал на нормативное предписание Международного Суда ООН, вынесенное им в адрес Италии в решении по делу о юрисдикционных иммунитетах государств³¹. Суд установил, что Италия нарушила международные обязательства по уважению иммунитетов Германии, когда итальянские суды приняли к своему производству гражданские иски против немецкого государства в связи с допущенными Третим рейхом нарушениями международного гуманитарного права, а также приняли обеспечительные меры в отношении имущества, пользовавшегося иммунитетом. Международный Суд ООН обязал Италию «путем принятия соответствующего законодательства или иным способом по своему выбору» аннулировать такие судебные решения³².

²⁸ Corte costituzionale. Sentenza 50/2015. URL: <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2015&numero=50> (дата обращения: 29.08.2024).

²⁹ Ibid.

³⁰ П. 1.2 мотивировочной части Постановления Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2016 г. № 12-П.

³¹ International Court of Justice. Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece Intervening). Judgment of 3 February 2012. URL: https://www.worldcourts.com/icj/eng/decisions/2012.02.03_Germany_v_Italy.pdf (дата обращения: 29.08.2024).

³² Ibid. P. 51.

Однако КС Италии не согласился с доводами о том, что нормы о международных иммунитетах государств являются международным обычаем и не подлежат ограничению в случае совершения военных преступлений. В результате закон о ратификации Устава ООН был признан частично неконституционным³³. Данный пример является исключительным по той причине, что КС Италии вступил в открытую полемику с международным судом, напрямую подвергая сомнению толкование примененных им норм международного права. Причина, судя по всему, заключалась в защите национальной идентичности от искажения исторической памяти о страшных преступлениях нацистских преступников. Однако при этом, в отличие от Германии и Франции, КС Италии не использовал напрямую словосочетания «конституционная идентичность» или «национальная идентичность».

Бразилия. В бразильском правовом дискурсе аргументы по защите исторической самобытности и конституционной идентичности сформулированы *expressis verbis*. При этом они, как представляется, функционально идентичны и преследуют единую цель. Такие аргументы звучали в споре между Федеральным Верховным судом (ФВС) Бразилии и МАСПЧ, когда последний в постановлении по делу «Гомеш Лунд и другие («Арагуайская герилья») против Бразилии», взяв на себя нормоконтрольные полномочия, признал положения бразильского закона об амнистии противоречащими Американской конвенции о правах человека 1969 г., поскольку они препятствовали «расследованию и наказанию серьезных нарушений прав человека», и предписал криминализовать «преступления насильственного исчезновения лиц в соответствии с межамериканскими стандартами»³⁴.

В свою очередь, ФВС Бразилии констатировал невозможность исполнения данного нормативного предписания, поскольку акты амнистии, с его точки зрения, были необходимы для компенсации последствий диктаторского режима, исторически существовавшего в Бразилии, а значит, не противоречили Конституции (Ramos 2016: 25-26). Тем самым Суд фактически предпринял попытку защитить национальную идентичность с учетом особенностей исторического развития, буквально – историческую самобытность бразильского государства. Здесь следует отметить, что историческая и иные виды памяти, по признанию исследователей, играют важную роль в процессе формирования национальной идентичности (Миллер 2020).

ФВС Бразилии может отступить от решения международного суда и по более прозаичной причине, в частности, когда национальный нормативный акт, поставленный под сомнение в ходе международного разбирательства, соответствует Конституции Бразилии. Такой подход применяется

³³ Corte costituzionale. Judgment no. 238 of 22 October 2014. URL: https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/doc/recent_judgments/S238_2013_en.pdf (дата обращения: 29.08.2024).

³⁴ Inter-American Court of Human Rights. Gomes Lund et al. (“Guerrilha do Araguaia”) v. Brazil. Judgment of 24 November 2010. § 15 (prescriptive). URL: https://iachr.ils.edu/sites/default/files/iachr/Cases/Gomes_Lund_et_al_v_Brazil/williams_gomes_lund_et_al_v_brazil.pdf (дата обращения: 30.08.2024).

к договорам, регулирующим международные экономические отношения, например, к Генеральному соглашению по тарифам и торговле. Так, спор между Бразилией и Европейским союзом в Органе по разрешению споров Всемирной торговой организации, который касался импорта в Бразилию шин с восстановленным протектором, получил свое развитие в том числе потому, что оказался в фокусе внимания ФВС Бразилии, который вопреки позиции международного арбитража отказался признавать существующие в национальном законодательстве импортные ограничения неконституционными³⁵.

Однако, если предметом международно-правового акта выступают права человека, логика ФВС Бразилии меняется. Отмечается, что такие международные договоры являются «высшими параметрическими нормами» при проверке того, были ли нарушены конституционные права граждан, а потому вся система национального права, включая Конституцию, должна соответствовать международным стандартам. Таким образом, по крайней мере договоры о правах человека должны приобретать в Бразилии конституционный или даже надправовой статус (Ramos 2016: 20), а соображения защиты национальной идентичности могут и вовсе отойти на второй план.

Казахстан. Несмотря на то, что в практике Конституционного совета (КС) Республики Казахстан аргумент, связанный с защитой национальной идентичности, не встречается, ее анализ представляет особый интерес в контексте задач настоящего исследования. Дело в том, что на этом примере можно продемонстрировать принципиально иной подход, который в меньшей степени связан с международным правом и больше сосредоточен на конструировании внутригосударственных «предохранительных» механизмов, цель которых – не допустить принятия на себя международно-правовых обязательств, имплементация которых может угрожать национальной идентичности. Если во Франции данная цель достигается за счет предварительного конституционного контроля международных договоров, то в Казахстане – посредством усложнения требований к применению норм международного права в национальном правопорядке и расширения полномочий законодателя по регламентации порядка их применения³⁶.

КС Казахстана начал выдвигать такие требования уже в одном из своих первых решений, где подтвердил толкование Конституции 1995 г., согласно которому под «действующим правом» понимаются в том числе актуальные (не расторгнутые) международные обязательства³⁷. Однако при этом Совет

³⁵ O Supremo Tribunal Federal (STF) decide que Brasil não pode importar pneus usados // Consultor Jurídico. 24.06.2009. URL: <https://www.conjur.com.br/2009-jun-24/supremo-decide-brasil-nao-importar-pneus-usados/> (дата обращения: 30.08.2024).

³⁶ До 2023 г. КС Казахстана осуществлял так же, как и во Франции, квазисудебный контроль.

³⁷ Постановление Конституционного совета Республики Казахстан от 28 октября 1996 г. № 6/2. URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/S9600006_2_ (дата обращения: 30.08.2024).

однозначно указал на приоритет Конституции перед любым международным договором³⁸.

Особенность конституционно-контрольной практики Казахстана в обозначенном направлении заключается также в придании особого значения международным договорам, согласие на обязательность которых выражена в форме ратификации. Так, в 2000 г. КС Казахстана дал толкование п. 3 ст. 4 Конституции, согласно которому приоритет перед законами государства имеют только ратифицированные международные договоры. Совет не только подтвердил буквальный смысл Конституции, но и подчеркнул, что нератифицированные международные договоры применяются лишь в том случае, если они не противоречат национальным законам³⁹. Исключением стали только две категории международных договоров: 1) согласие на обязательность которых Казахстан выразил до 1995 г. (до принятия ныне действующей Конституции); 2) предметом которых являются права и свободы человека и гражданина, но которые не были ратифицированы, а также договоры, о приоритете которых прямо говорит законодатель независимо от ратификации⁴⁰.

Последнее исключение представляет особый интерес. В одном из последующих постановлений КС Казахстана указал на исключительную прерогативу парламента определять, какие международные договоры подлежат ратификации, а какие – нет⁴¹. В совокупности с обозначенной тенденцией придания ратификации особого значения в национальном правопорядке, а также с ранее сформулированным Советом правом законодателя самостоятельно решать, какие договоры будут преобладать над национальными законами, это означает, что, по сути, исполнение Казахстаном международных обязательств превращается из безусловной обязанности в парламентскую прерогативу (*ex gratia*). Этот вывод подкрепляется правовой позицией Совета, выраженной в упомянутом выше Постановлении 2000 г.: поскольку Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. не устанавливает порядок их исполнения, государство вправе определять его самостоятельно, исходя из принципа суверенного равенства государств⁴². При

³⁸ Постановление Конституционного совета Республики Казахстан от 5 ноября 2009 г. № 6. URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/S090000006> (дата обращения: 30.08.2024).

³⁹ Постановление Конституционного совета Республики Казахстан от 11 октября 2000 г. № 18/2. URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/S000000018> (дата обращения: 30.08.2024).

⁴⁰ Там же. П. 3 мотивировочной части.

⁴¹ Постановление Конституционного совета Республики Казахстан от 13 декабря 2001 г. № 16-17/3. URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/S0100016_17 (дата обращения: 30.08.2024).

⁴² Такой подход является спорным в свете положений ст. 26 и 27 Венской конвенции, откуда вытекает недопустимость ссылки на положения внутреннего законодательства в качестве оправдания для невыполнения договора, в то время как все апелляции государства к внутренним нормам особо важного значения должны толковаться максимально ограничительно. О недопустимости ссылки на конституцию

таким положении дел парламент, решая вопрос о целесообразности ратификации того или иного международного договора, практически наверняка будет принимать во внимание соображения защиты национальной идентичности.

Наконец, в практике КС Казахстана встречается аргумент, связанный с защитой суверенитета страны, который функционально схож с аргументом о защите национальной идентичности, звучащим в проанализированных выше правопорядках. Примечательно, что этот аргумент объясняет наличие у органа конституционного контроля права признать неконституционными положения международного договора в порядке последующего нормоконтроля, что по своим правовым последствиям равнозначно его частичному прекращению. Именно таким образом Казахстан отступил от ряда договоренностей с Россией, касающихся аренды последней комплекса «Байконур»: они, по мнению Совета, на практике допускали распространение российской исполнительной и судебной юрисдикции на территорию Казахстана и в отношении его граждан, ущемляя суверенитет страны⁴³.

Россия. Как уже отмечалось, концепция конструктивного диалога впервые прозвучала в практике КС Италии. Впоследствии Конституционный Суд (КС) Российской Федерации в Постановлении от 14 июля 2015 г. № 21-П указал на необходимость выстраивания такого диалога с ЕСПЧ⁴⁴ при рассмотрении вопросов о возможности исполнения его отдельных постановлений, которые входили в противоречие с Конституцией России и тем самым угрожали конституционной идентичности.

Следует отметить, что КС России сдержанно подходил к вопросам отстаивания конституционной идентичности, не допуская категорического отказа от исполнения даже спорных с его точки зрения международно-правовых предписаний⁴⁵. Прежде всего, Суд имплицитно применял принцип *in dubio pro libertate*, согласно которому в случае возникновения конфликтов между нормативными актами «должен быть выбран такой результат, который наиболее благоприятствует правам и свободам человека» (Шустров

в качестве национальных норм «особо важного значения» для оправдания невыполнения международного обязательства пишет, например, М.А. Лихачев (Лихачев 2020).

⁴³ Постановление Конституционного совета Республики Казахстан от 7 мая 2001 г. № 6/2. URL: <https://www.gov.kz/memleket/entities/ksrk/documents/details/172493?lang=ru&ysclid=m1dkqpsugd229548952> (дата обращения: 30.08.2024).

⁴⁴ В настоящее время решения ЕСПЧ не являются обязательными для России в связи с ее выходом из Совета Европы и прекращением действия в отношении нее Европейской конвенции. См.: Федеральный закон от 28 февраля 2023 г. № 43-ФЗ «О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_440539/?ysclid=m1die9w1ys668061983 (дата обращения: 30.08.2024).

⁴⁵ При этом КС России, как пишет Б.Р. Тузмухамедов, прошел путь от мало чем ограниченной открытости для международных веяний до создания системы конституционных сдержек и фильтров, предназначенных для регулирования своих международных юрисдикционных диалогов и международного jurisprudенческого диалога в целом (Тузмухамедов 2020: 69-70).

2020b: 119-120). Руководствуясь этими соображениями, российская конституционная юстиция под влиянием эволютивных гуманистических веяний ЕСПЧ пересмотрела взгляды на правовой статус лиц, приговоренных к пожизненному лишению свободы, в частности, содержание их конституционного права на уважение семейной жизни⁴⁶. Иными словами, для регулирования данных правоотношений был избран европейский правопорядок как обеспечивающий больший уровень правовых гарантий, нежели российский в существовавшем на тот момент виде.

Практика КС России содержит и обратные примеры, когда национальное регулирование подлежало применению преимущественно перед международным, поскольку обеспечивало больший уровень защиты. Так произошло с трудовым законодательством: в то время как Конвенция Международной организации труда устанавливала 18-месячный срок предоставления оставшейся части неиспользованного отпуска, российское законодательство подобных ограничений не предусматривает. Соответственно, международный договор России не может ограничивать права работников по сравнению с тем объемом, который закреплен в Трудовом кодексе РФ⁴⁷. Не исключено, что такая ситуация может сложиться и в контексте коллизии отдельных норм российского и международного права.

Приверженность российского конституционного контроля принципу *pacta sunt servanda* проявлялась даже в тех случаях, когда КС России все же приходил к выводу о невозможности исполнения постановления ЕСПЧ в порядке, предусмотренном гл. XIII.1 Закона о КС России⁴⁸. Об этом свидетельствовал тот факт, что Суд никогда не указывал на принципиальную неисполнимость решений ЕСПЧ; напротив, он не исключал альтернативных способов в соответствии со ст. 46 Европейской конвенции. Например, проверяя возможность исполнения постановления ЕСПЧ по делу «Нефтяная компания ЮКОС против России», КС России отметил, что выплата бывшим акционерам компании сумм справедливой компенсации, присужденной ЕСПЧ, допускается в «процедуре распределения вновь выявленного имущества ликвидированного юридического лица... после расчетов с кредиторами»⁴⁹.

Наконец, конституционное правосудие может не только быть способом защиты национальной идентичности, но и средством исполнения решений

⁴⁶ Постановление Конституционного Суда РФ от 15 ноября 2016 г. № 24-П. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207163/?ysclid=m1digbmay581950556 (дата обращения: 30.08.2024).

⁴⁷ Постановление Конституционного Суда РФ от 25 октября 2018 г. № 38-П. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_309836/ (дата обращения: 30.08.2024).

⁴⁸ Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации». URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/6650> (дата обращения: 30.08.2024).

⁴⁹ П. 7 мотивировочной части Постановления Конституционного Суда РФ от 19 января 2017 г. № 1-П. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_211287/ (дата обращения: 30.08.2024).

и нормативных предписаний международных юрисдикционных органов. На это прямо указывал В.Д. Зорькин, определяя постановление КС России, предписавшее осуществление реформы надзорного производства⁵⁰, своего рода исполнением постановлений ЕСПЧ по делам «Рябых против России», «Волкова против России» и «Засурцев против России»⁵¹.

Заключение

Национальные юрисдикции демонстрируют большое разнообразие аргументов и правовых концепций, которые могут применяться или уже применялись для защиты национальной (конституционной) идентичности. Однако международное право в условиях незавершенности перехода мира к многополярной системе настороженно относится к аргументации подобного порядка.

Как отмечает М. Шоу, хотя государство и обладает фундаментальным правом на независимость и суверенитет (продолжая его логику, можно сказать – на собственную национальную, или конституционную, идентичность), такое право подлежит ограничительному толкованию: «...подчинение нормам международного права не является отступлением от независимости» (Shaw 2008: 211-212). А. Кассесе полагает, что данная проблема уходит своими корнями в институт суверенных государств современного мира, который пребывает, по его мнению, в кризисе и сам по себе тормозит процесс развития международного права в смысле *societas generis humani* (Cassese 2012: 58). М.А. Лихачев, проводя критический анализ «права на возражение» со стороны России (которая на тот момент являлась участником Европейской конвенции) против позиции ЕСПЧ, указывал на принципиально неправильную постановку вопроса: «*De lege lata* и в соответствии с принципом *pacta sunt servanda* постановления Европейского Суда по правам человека в отношении РФ обязательны к исполнению... Никакие аргументы против в этой части не имеют юридического смысла» (Лихачев 2018: 56).

Аргументы, связанные с защитой национальной (конституционной) идентичности, не находят убедительными и международные юрисдикционные органы. Примером может послужить МАСПЧ, который последовательно настаивает на точном и исчерпывающем исполнении его нормативных предписаний, сужая тем самым свободу усмотрения государств в этом вопросе и, как следствие, их возможности по защите национальной идентичности.

Тем не менее это не отменяет необходимости разработки принципиально новых аргументов и правовых механизмов в целях защиты национальной

⁵⁰ Постановление Конституционного Суда РФ от 5 февраля 2007 г. № 2-П. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66124/?ysclid=m1dzewau8n210966784 (дата обращения: 30.08.2024).

⁵¹ Зорькин В.Д. Диалог Конституционного Суда Российской Федерации и Европейского Суда по правам человека в контексте конституционного правопорядка // Конституционный Суд Российской Федерации. 18.11.2010. URL: <http://www.ksrf.ru/ru/News/Speech/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=39> (дата обращения: 30.08.2024).

идентичности в условиях современного международного права, готовящегося к переходу на рельсы многополярного мира. При этом целью должна быть не защита «любой ценой», а поиск разумного баланса между ней как объективной необходимостью, с одной стороны, и требованиями современного международного права, которым должно подчиняться международное общение, с другой. Представляется, что участие в этом процессе Российской Федерации как государства, имеющего богатый опыт в данном вопросе, является неперенным условием совершенствования механизмов защиты национальной идентичности. Необходимо учитывать, что достичь столь сложных целей возможно только посредством использования таких же сложных методов, которые не сводятся лишь к разработке нового правового инструментария. По крайней мере, этот инструментарий должен применяться в такой внутривнутриполитической и социокультурной среде, которая благоприятствует укреплению национальной идентичности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Абашидзе А.Х. 2024. БРИКС: международно-правовое измерение // Обозреватель-Observer. № 4. С. 115-123. DOI 10.48137/2074-2975_2024_4_115
- Бекашев К.А. (ред.) 2021. Международное право. Москва : Проспект. 352 с.
- Белов С.А. 2024. Ценности незападных политических традиций // Сравнительное конституционное обозрение. Т. 33, № 2. С. 73-88. DOI 10.21128/1812-7126-2024-2-73-88
- Блохин П.Д. 2018. Судебная доктрина конституционной идентичности: генезис, проблемы, перспективы // Сравнительное конституционное обозрение. № 6. С. 62-81. DOI 10.21128/1812-7126-2018-6-62-81
- Богданов А.А. 1989. Тектология. Всеобщая организационная наука : в 2 кн. Кн. 2. Москва : Экономика. 351 с.
- Голубок С.А. 2011. Распространение международных судов и трибуналов: признак фрагментации или укрепления современного международного права? // Международное правосудие. № 1. С. 4-11.
- Золкин А.Л. 2016. Цивилизационная идентичность России в многополярном мире // Социально-гуманитарное обозрение. № 1. С. 38-40.
- Ковлер А.И. 2016. Эволютивное толкование Европейской Конвенции по правам человека: возможности и пределы. Европейский Суд по правам человека как субъект толкования права // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. № 3. С. 92-100.
- Лихачев М.А. 2018. Европейский Суд и Россия: казнить нельзя помиловать // Электронное приложение к «Российскому юридическому журналу». № 5. С. 45-62.
- Лихачев М.А. 2020. Международное и внутривнутригосударственное право: есть ли первый среди равных? // Российский юридический журнал. № 3. С. 30-44.
- Лубенец Е.В. 2022. Некоторые аспекты легитимации политики строительства национально-государственной идентичности (на примере Республики Беларусь) // Власть. Т. 30, № 5. С. 73-77.
- Миллер А.И. 2020. Политика памяти в стратегиях формирования национальных и региональных идентичностей в России: акторы, институты и практики // Новое прошлое. № 1. С. 210-217.

Мюллерсон Р.А., Тункин Г.И. (ред.) 1989. Курс международного права : в 7 т. Т. 1. Москва : Наука. 360 с.

Николаев А.М., Давтян М.К. 2018. Исполнение решений Европейского Суда по правам человека и Межамериканского Суда по правам человека: сравнительный анализ // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. № 4. С. 40-46.

Нуссбергер А. 2022. Европейский Суд по правам человека. Москва : Институт права и публичной политики. 260 с.

Панкевич Н.В. 2023. Международное правосудие: проблема политической субъектности и кризис легитимности // Дискурс-Пи. Т. 20, № 4. С. 139-161. DOI 10.17506/18179568_2023_20_4_139

Титов В.В. 2021. К вопросу о совершенствовании политики идентичности в контексте реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации // Общество: политика, экономика, право. № 10. С. 12-15. DOI 10.24158/rep.2021.10.1

Тузмухамедов Б.Р. 2020. Международное право в конституционной юрисдикции. Москва : Центр международных и сравнительно-правовых исследований. 95 с.

Шустров Д.Г. 2020а. Конституционная идентичность и изменение конституции // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. № 4. С. 21-49.

Шустров Д.Г. 2020b. Принципы конституционного толкования // Сравнительное конституционное обозрение. № 1. С. 107-132. DOI 10.21128/1812-7126-2020-1-107-132

Cassese A. 2012. States: Rise and Decline of the Primary Subjects of the International Community // The Oxford Handbook of the History of International Law / ed. by B. Fassbender, A. Peters. Oxford : Oxford University Press. P. 49-70.

Jellinek G. 1921. Allgemeine Staatslehre. Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag. 837 s.

Kadelbach S. 2019. International Treaties and the German Constitution // The Oxford Handbook of Comparative Foreign Relations Law / ed. by C.A. Bradley. New York : Oxford University Press. P. 172-190.

Lienen C. 2023. Shaped by the Nuanced Constitution. A Critique of Common Law Constitutional Rights. Oxford : Hart Publishing. 232 p.

Linderfalk U. 2015. Is Treaty Interpretation an Art or a Science? International Law and Rational Decision Making // The European Journal of International Law. Vol. 26, iss. 1. P. 169-189. DOI 10.1093/ejil/chv008

Malarino E. 2012. Judicial Activism, Punitivism and Supranationalisation: Illiberal and Antidemocratic Tendencies of the Inter-American Court of Human Rights // International Criminal Law Review. Vol. 12, iss. 4. P. 665-695. DOI 10.1163/15718123-01204003

Paris D., Oellers-Frahm K. 2016. Zwei weitere völkerrechts “unfreundliche” Entscheidungen des italienischen Verfassungsgerichtshofs aus dem Jahr 2015 // Europäische Grundrechte-Zeitschrift. Vol. 43, iss. 10-12. S. 245-252.

Ramos A.C. 2016. Control of Conventionality and the Struggle to Achieve the Final Definitive Interpretation of Human Rights: The Brazilian Experience // Revista IIDH. Vol. 64. P. 11-32.

Shaw M.N. 2008. International Law. Cambridge : Cambridge University Press. 1032 p.

Triepel H. 1899. Völkerrecht und Landesrecht. Leipzig : Hirschfeld. 452 s.

References

- Abashidze A.H. BRICS: The International Legal Dimension, *Obozrevatel'-Observer* [Observer], 2024, no. 4, pp. 115-123. (In Russ.). DOI 10.48137/2074-2975_2024_4_115
- Bekyashev K.A. (ed.) *International Law*, Moscow, Prospekt, 2021, 352 p. (In Russ.).
- Belov S.A. Values of Non-Western Political Traditions, *Sravnitel'noe konstitutsionnoe obozrenie* [Comparative Constitutional Review], 2024, vol. 33, no. 2, pp. 73-88 (In Russ.). DOI 10.21128/1812-7126-2024-2-73-88
- Blokhin P.D. The Judicial Doctrine of Constitutional Identity: Genesis, Issues, and Perspectives, *Sravnitel'noe konstitutsionnoe obozrenie* [Comparative Constitutional Review], 2018, no. 6, pp. 62-81. (In Russ.). DOI 10.21128/1812-7126-2018-6-62-81
- Bogdanov A.A. *Tectology. Universal Organizational Science in 2 books, book 2*, Moscow, Ekonomika, 1989, 351 p. (In Russ.).
- Cassese A. States: Rise and Decline of the Primary Subjects of the International Community, *Fassbender B., Peters A. (eds.) The Oxford Handbook of the History of International Law*, Oxford, Oxford University Press, 2012, pp. 49-70.
- Golubok S.A. The Proliferation of International Courts and Tribunals: A Sign of Fragmentation or Strengthening of Modern International Law? *Mezhdunarodnoe pravosudie* [International Justice], 2011, no. 1, pp. 4-11. (In Russ.).
- Jellinek G. *Allgemeine Staatslehre* [General Doctrine of State], Berlin & Heidelberg, Springer-Verlag, 1921, 837 p. (In German).
- Kadelbach S. International Treaties and the German Constitution, *Bradley C.A. (ed.) The Oxford Handbook of Comparative Foreign Relations Law*, New York, Oxford University Press, 2019, pp. 172-190.
- Kovler A.I. Evolutive Interpretation of the European Convention on Human Rights: Possibilities and Limits. The European Court of Human Rights as a Subject of Interpretation of Law, *Zhurnal zarubezhnogo zakonodatelstva i sravnitel'nogo pravovedeniya* [Journal of Foreign Legislation and Comparative Law], 2016, no. 3, pp. 92-100. (In Russ.).
- Lienen C. *Shaped by the Nuanced Constitution. A Critique of Common Law Constitutional Rights*, Oxford, Hart Publishing, 2023, 232 p.
- Likhachev M.A. International and Domestic Law: What's the Last but not the Least? *Rossiiskij yuridicheskij zhurnal* [Russian Juridical Journal], 2020, no. 3, pp. 30-44. (In Russ.).
- Likhachev M.A. The European Court and Russia: Pardon Impossible to Execute, *Elektronnoe prilozhenie k Rossijskomu yuridicheskomu zhurnalu* [Electronic Supplement to "Russian Juridical Journal"], 2018, no. 5, pp. 45-62. (In Russ.).
- Linderfalk U. Is Treaty Interpretation an Art or a Science? International Law and Rational Decision Making, *The European Journal of International Law*, 2015, vol. 26, no. 1, pp. 169-189. DOI 10.1093/ejil/chv008
- Lubenets E.V. Some Aspects of the Legitimation of the Nation-State Identity Building Policy, *Vlast'* [The Authority], 2022, vol. 30, no. 5, pp. 73-77. (In Russ.).
- Malarino E. Judicial Activism, Punitivism and Supranationalisation: Illiberal and Antidemocratic Tendencies of the Inter-American Court of Human Rights, *International Criminal Law Review*, 2012, vol. 12, no. 4, pp. 665-695. DOI 10.1163/15718123-01204003
- Miller A.I. The Policy of Remembrance in Strategies of Formation of National and Regional Identities in Russia: Actors, Institutions and Practices, *Novoe Proshloe* [The New Past], 2020, no. 1, pp. 210-217. (In Russ.).
- Mullerson R.A., Tunkin G.I. (eds.) *International Law Course in 7 books, book 1*, Moscow, Nauka, 360 p. (In Russ.).

Nikolaev A.M., Davtyan M.K. Execution of Judgments of the European Court of Human Rights and the Inter-American Court of Human Rights: Comparative Analysis, *Zhurnal zarubezhnogo zakonodatelstva i sravnitel'nogo pravovedeniya* [Journal of Foreign Legislation and Comparative Law], 2018, no. 4, pp. 40-46. (In Russ.).

Nußberger A. *The European Court of Human Rights*, Moscow, Institut prava i publichnoy politiki, 2022, 260 p. (In Russ.).

Pankevich N.V. International Justice: The Problem of Political Actorness and the Crisis of Legitimacy, *Diskurs Pi* [Discourse-P], 2023, vol. 20, no. 4, pp. 139-161. DOI 10.17506/18179568_2023_20_4_139 (In Russ.).

Paris D., Oellers-Frahm K. Zwei weitere völkerrechts "unfreundliche" Entscheidungen des italienischen Verfassungsgerichtshofs aus dem Jahr 2015 [Two Other "Unfriendly" Decisions of the Italian Constitutional Court Concerning International Law from 2015], *Europäische Grundrechte-Zeitschrift* [European Fundamental Rights Journal], 2016, vol. 43, no. 10-12, pp. 245-252. (In German).

Ramos A.C. Control of Conventionality and the Struggle to Achieve the Final Definitive Interpretation of Human Rights: The Brazilian Experience, *Revista IIDH* [Journal of the IHR], 2016, vol. 64, pp. 11-32.

Shaw M.N. *International Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, 1032 p.

Shustrov D.G. Constitutional Identity and Amendments to the Constitution, *Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 11: Pravo* [Moscow University Bulletin. Series 11: Law], 2020, no. 4, pp. 21-49. (In Russ.).

Shustrov D.G. Principles of Constitutional Interpretation, *Sravnitel'noe konstitutsionnoe obozrenie* [Comparative Constitutional Review], 2020, no. 1, pp. 107-132. (In Russ.). DOI 10.21128/1812-7126-2020-1-107-132

Titov V.V. On the Issue of Improving the Identity Policy in the Context of the Implementation of the State National Policy Strategy of the Russian Federation, *Obshchestvo: politika, ekonomika, pravo* [Society: Politics, Economics, Law], 2021, no. 10, pp. 12-15. (In Russ.). DOI 10.24158/pep.2021.10.1

Triepel H. *Völkerrecht und Landesrecht* [International Law and National Law], Leipzig, Hirschfeld, 1899, 452 p. (In German).

Tuzmukhamedov B.R. *International Law in Constitutional Jurisdiction*, Moscow, Centr mezhdunarodnyh i sravnitel'no-pravovyh issledovaniy, 2020, 95 p. (In Russ.).

Zolkin A.L. Civilizational Identity of Russia in a Multipolar World, *Sotsialno-gumanitarnoe obozrenie* [Social and Humanitarian Review], 2016, no. 1, pp. 38-40. (In Russ.).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Виктор Дмитриевич Балакаев

младший научный сотрудник Института государства и права Российской академии наук, г. Москва, Россия;
ORCID: 0009-0003-3565-8443;
ResearcherID: LIF-9352-2024;
SPIN-код: 2871-9199;
E-mail: balakaev.work@gmail.com

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Viktor D. Balakaev

Junior Researcher, Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia;
ORCID: 0009-0003-3565-8443;
ResearcherID: LIF-9352-2024;
SPIN-code: 2871-9199;
E-mail: balakaev.work@gmail.com

Правила подачи рукописей

1. Рукописи статей в формате .docx или .doc отправляются в редакцию по электронной почте: admin@instlaw.uran.ru.

2. Статьи, представляемые на русском или английском языке, должны соответствовать тематике журнала: философия, политическая наука, право.

3. Принимаются только рукописи ранее не опубликованных, оригинальных работ. Все статьи проверяются на плагиат, самоплагиат и иные формы нарушения этических норм. В случае их обнаружения на любой стадии работы со статьей авторам направляется уведомление об отказе в публикации.

4. Все поступившие рукописи проходят двойное слепое рецензирование. К рецензированию привлекаются как внешние эксперты – специалисты по проблематике представленной статьи, так и члены редакционной коллегии. Если мнения двух рецензентов принципиально расходятся, редакция привлекает третьего рецензента или принимает решение самостоятельно. Процедура рецензирования обычно не занимает больше двух месяцев. Однако в случае рекомендации статьи к доработке и повторному рецензированию общий срок ее рассмотрения может быть увеличен до четырех месяцев.

5. По результатам рецензирования статья может быть принята к печати, направлена на доработку или отклонена. При принятии к печати статья пополняет редакционный портфель, из материалов которого редколлегия комплекзует ближайшие номера журнала.

6. Рецензии хранятся в редакции в течение пяти лет. Редакция направляет авторам рукописей отзывы рецензентов или мотивированный отказ, а также обязуется направлять копии рецензий в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации при поступлении соответствующего запроса.

7. Рукопись оформляется в соответствии с принятыми в журнале техническими требованиями. Рекомендуемый объем – от 30 до 60 тысяч знаков с учетом пробелов. Шрифт – 14 Times New Roman, полуторный межстрочный интервал. Текст должен быть отформатирован по ширине без переносов. Абзацный отступ – 1 см (выполняется без использования пробелов или табуляции). Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Основной вид кавычек в текстах на русском языке: « ». Однако, если внутри цитаты есть закавыченный фрагмент, он выделяется с помощью “ ”, а вся цитата – с помощью « ». Основной вид кавычек в текстах на английском языке: “ ”. Подзаголовки основных разделов статьи набираются полужирным шрифтом по центру.

8. В самом начале рукописи, в левом верхнем углу, указывается код УДК. Затем набирается полужирным шрифтом название статьи, под которым указываются имя,

отчество (при наличии), фамилия автора, аффилиация (полное название организации без почтового адреса; возможно указание нескольких организаций), город, страна, адрес электронной почты автора. Далее размещается аннотация объемом от 2000 до 2200 знаков с учетом пробелов. Желательно, чтобы в ней была отражена следующая информация: актуальность, цель, теоретико-методологическая основа, краткое содержание и основные выводы исследования. После аннотации приводится список из 5–10 ключевых слов.

9. В разделе «Благодарности» дается информация о финансировании исследования (финансирующее агентство и номер гранта). Также в этом разделе можно выразить благодарность людям, которые помогли автору в работе над статьей.

10. В конце статьи приводятся сведения об авторе: имя, отчество (при наличии), фамилия, ученая степень, звание, должность и место работы; ORCID; ResearcherID (при наличии); Scopus AuthorID (при наличии); SPIN-код; адрес электронной почты.

11. Информация, указанная в пунктах 8–10 (название статьи, аннотация, ключевые слова, благодарности и информация об авторе), предоставляется также на английском языке.

12. Все таблицы и рисунки должны иметь последовательную нумерацию, название; быть включены как в основной файл статьи, так и представлены отдельными файлами.

13. Библиографический список в конце рукописи включает только научную литературу. Примечания, ссылки на нормативно-правовые акты, статистические данные, интернет-ресурсы, словари, газеты и так далее оформляются в виде постраничных сносок (12 Times New Roman, одинарный межстрочный интервал, отступ – 1 см). Внутритекстовые ссылки на научную литературу даются в круглых скобках, где указывается фамилия автора или составителя (главного или ответственного редактора), год издания и при необходимости после двоеточия страница(ы). Например: (Луман 1999: 204).

14. В Библиографическом списке сначала идут в алфавитном порядке работы на русском языке, затем на иностранных языках. В книге (монографии, сборнике) указывается год, место издания, издательство, общее число страниц. В статье указывается диапазон страниц. При наличии нескольких работ одного автора, вышедших в одном календарном году, к цифровому обозначению года добавляются строчные буквы латинского алфавита – a, b, c..., что отражается и во внутритекстовых ссылках. Если публикация имеет DOI, следует обязательно указать его.

Все представленные в Библиографическом списке работы оформляются также в виде *References* в алфавитном порядке, где источники на кириллице даются в транслитерации и переводе на английский язык: название журнала, сборника – в транслитерации и переводе; заглавие книги или статьи, место издания – только в переводе; издательство – только в транслитерации. Работы на английском языке приводятся без изменений, источники на иных языках также даются в переводе на английский язык.

15. Одобренные редакционной коллегией материалы публикуются бесплатно. Гонорар автору не выплачивается.

16. К представленной в редакцию рукописи автор прилагает письменное согласие на размещение опубликованной в журнале статьи в электронных базах данных; письменное согласие на опубликование персональных данных.

Более подробно с требованиями к рукописям и примерами их оформления можно ознакомиться на сайте журнала по адресу: <http://yearbook.uran.ru/avtoram/trebovaniya-k-statiam>

Manuscript Submission Guidelines

1. Manuscripts of articles in .docx or .doc format should be sent to the editorial board's email address: admin@instlaw.uran.ru.

2. Manuscripts submitted in Russian or English have to correspond to the subject areas of the Journal – philosophy, political science, and law.

3. Only manuscripts of previously unpublished and original articles are acceptable. All manuscripts are checked for plagiarism, self-plagiarism and other forms of ethical violations. In case of their detection at any stage of editing, the authors are notified of the refusal to publish.

4. Every submitted manuscript is subjected to a double-blind peer review. Peer reviewers involved are both external experts, specialists in the same subject area as the submitted manuscript, and members of the editorial board. If peer reviews fundamentally differ, the article will either be passed for evaluation to a third reviewer, or the decision will be taken by the editorial board itself. The reviewing procedure usually takes no more than two months. However, if the manuscript is recommended for revision and re-reviewing, the total consideration period can be extended to four months.

5. Based on the results of the review, the manuscript may be accepted for publication, sent back to the author for revision, or rejected. When accepted for publication, the article replenishes the editorial portfolio which materials are used for completing the next issues of the Journal.

6. Peer reviews are retained in the editorial office for five years. The editorial board sends reviews or reasonable rejections to the authors. It is also committed to sending copies of reviews to the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation in case of being requested.

7. The manuscripts should be designed in accordance with the Journal's technical specifications. The recommended length is between 30,000 and 60,000 characters, including spaces. Font – 14 Times New Roman, line spacing – 1.5. Justified text alignment, no automatic hyphenation. First-line indent (without the use of tabs or space) – 1 cm. Page layout: top margin – 2 cm, bottom – 2 cm, left – 3 cm, right – 1.5 cm. The main type of quotation marks in Russian language manuscripts: « ». However, if there is a quoted extract inside the quote, it is marked with “ ”, and the whole quote is marked with « ». The main type of quotation marks in English language manuscripts: “ ”. The subheadings of the main sections of the article are typed in bold in the center of the page.

8. At the very beginning of the manuscript, in the top-left corner, a universal decimal classification (UDC) code should be indicated if possible. Then the article title is typed in bold, under which the author's personal data should be provided: the name, patronymic (if any), and the surname of the author, affiliation (full name without a postal

address; multiple affiliations are permitted), city, country, e-mail of the author. Next, an abstract comprising 2,000–2,200 characters in length (including spaces) is placed. It is advised to contain the following information: relevance, purpose, theoretical and methodological basis, summary, and main conclusions of the study. After the abstract, a list of 5–10 keywords is to be provided.

9. Acknowledgement section includes information on the financial support (the funding agency and the grant number). Also in this section, it is possible to express gratitude to those who helped the author in working on the article.

10. At the end of the manuscript, information about the author should be placed: first name, patronymic (if any), and the surname, academic degree, title, and position held; ORCID; ResearcherID (if any); Scopus AuthorID (if any); SPIN-code (if any); E-mail.

11. The information specified in paragraphs 8–10 (the article title, abstract, keywords, acknowledgements, and information about the author) is also provided in Russian if possible.

12. All tables and figures should be numbered in order of appearance and have captions. They should be both placed within the text of the manuscript and provided in separate files.

13. The Bibliography at the end of the manuscript includes only scientific literature. Notes, links to regulatory legal acts, statistical data, Internet resources, dictionaries, newspapers, etc. are given in the footnotes (12 Times New Roman, single line spacing, first-line indent – 1 cm). In-text references to scholarly sources are placed in parenthesis with the surname of the author or the compiler (chief or responsible editor), the year of publication, and, if necessary, the page(s) after a colon. For example: (Luhmann 1999: 204).

14. The Bibliography first includes alphabetically ordered works in Russian, then in other languages. A book (monograph, collection) indicates the year, place of publication, publisher, and a total number of pages. An article specifies the range of pages. When there are several works of the same author, published in the same calendar year, lowercase letters of the Latin alphabet (a, b, c, etc.) are added to the numerical year designation; this should also be reflected in the in-text references. If the publication has DOI, it is obligatory to be stated.

All works in the Bibliography are also arranged as References in alphabetical order with Cyrillic sources given in transliteration and translation into English: the name of the journal, collection – in transliteration and translation; the title of the book or the article, place of publication – only in translation; the publisher – only in transliteration. Sources originally written in English are given without changes, sources in other languages are also cited in English translation.

15. Publication of accepted articles is free of charge. No honorarium is paid to the author.

16. In addition to the manuscript, the author provides a written consent to display the published article in the electronic databases, as well as a written consent to make public his/ her personal data.

More detailed information about manuscript submission guidelines and design samples are provided on the Journal's website: <http://yearbook.uran.ru/en/for-authors/accepted-papers>

Научное издание

АНТИНОМИИ

Том 24

Выпуск 3

*Рекомендовано к изданию
Ученым советом Института философии и права
Уральского отделения РАН*

Ответственный за выпуск
В.С. Мартьянов

Редактор *И.И. Арсентьева*
Компьютерная верстка *А.Э. Якубовского*
Дизайн обложки *Е. Ширяевой, «РАА»*

Дата выхода в свет: 30.09.2024.
Формат 70x100/16. Бумага типографская.
Печать офсетная. Усл.-печ. л. 12,9 Уч.-изд. л. 10,86
Тираж 500 экз. Заказ №
Цена свободная

Институт философии и права УрО РАН
620108, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 16.

Изготовлено ООО «Издательство УМЦ УПИ»
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 17, офис 134.